

СЛЕДЫ у МОРЯ

Мы вернулись...

Утром мне бабка дала геркулесовую кашу с противными шелушками, очень колючими, я их долго выбирал, бабка говорит, что ты копаешься, сейчас папа за тобой придет. Он рано ушел на работу, специально, чтобы освободиться до обеда, пойти с тобой к морю. Я знал. Мы недавно приехали, я еще не видел город, даже на улицу не выходил. Папа говорит, опасно, подожди. Еще война. Я спросил, где она, он говорит - далеко, в Германии, врага добивают в его логове, но все равно, много бандитов, особенно по вечерам. Мы живем у дяди Бера, папиного брата, потому что папину квартиру разбомбили. Папа ходил узнать, что нам теперь дадут. Пришел, говорит, нечего надеяться.

А что сказали, спросила мама.

Ваши русские все разбомбили, поезжайте к ним.

Теперь мы ждем пока нам вернут бабкину квартиру, будет суд. В нее вселились эстонцы, пока нас не было. Мама говорит, выиграем, папа партийный, воевал, и все документы у нас. И папа договорился с теми, кто занял.

Значит, суда не будет, спрашивает бабка.

Будет, они согласны освободить, но чтобы им дали, куда выехать, папа говорит.

А у них нет?

Они из подвала. Спорить не будут, если вещи, которые у вас были, оставят себе.

Пусть, бабка говорит, я не против, только бы память отдали.

Я потом спросил маму, что за память.

Альбомы, небольшие вещи, напоминают о моих братьях.

Здесь были немцы, мы успели уехать от них, жили в Чувашии, в деревне, а папа был на войне. Я спросил у мамы, в первый день еще, почему дядина квартира цела, и вещи все на месте.

Она засмеялась, здесь жила старуха Хансен, мать дядиной жены Альберты. Она не еврейка, она немка, у нее с немцами трудностей не было.

Какие трудности? А у нас были?

У нас были бы, и еще какие... и у дяди тоже, поэтому мы все уехали, правда, они на юг, в Ташкент, а старуха осталась.

А как же Альберта, она поехала с дядей?

Она, да, уехала, но с другим дядей, Томасом, ты его вчера видел.

Теперь все вернулись и живут в одной квартире - дядя Бер, правда, сейчас он в другом месте, его жена Альберта с Томасом, старуха Хансен, и мы - я, папа, мама и бабка, мамина мама Фанни Львовна. У всех есть, где жить, и еще осталась общая комната, огромная, с круглым столом, картинами на стенах, вот такая большая квартира у дяди Бера. Мы четвером в одной небольшой комнате, но мама говорит, и это хорошо, другим приехавшим совсем негде жить. Нам повезло, она говорит, дядя Бер младший папин брат, он папу всегда любил. Он теперь военный прокурор, работает в другом городе, Тарту, приезжает домой по субботам. А Томас здесь все время живет, с Альбертой в одной комнате. Бабка говорит, Бер слабохарактерный, Томаса нужно гнать, с Альбертой вместе, если она от Томаса не отстанет. Они подружились в Ташкенте, пока Бер был на фронте.

Ах, мам, отстаньте от них, они сами должны разобраться, говорит мама, вот Бера переведут в Таллин, тогда и разговор.

А пока мы вот так живем.

Пошли к морю

Папу зовут Сёма, маму Зина, меня - Алик. Мы жили в Таллине до войны, но я не помню того времени, я был маленький. Вчера я объелся миндаля, меня тошнило.

Нельзя было оставлять на столе, бабка говорит маме, ты с ума сошла.

Папа заставил меня выпить воды, целый графин, потом пальцы в рот, и меня тошнило два раза. К вечеру я был здоров, только теперь горло болит, но не от этого. Бабка говорит, здесь климат гнилой, живем у моря.

Зачем же приехали, я спросил.

Здесь мы родились и жили раньше, папа говорит. Завтра пойдем к морю, посмотрим на воду.

Там будут корабли?

Конечно, будут.

И вот я жду, пока он вернется пораньше на обед, его отпустят из больницы, он работает врачом.

А на фронте ты был хирургом, я недавно спросил его.

Он засмеялся, какой я хирург, я терапевт, лечу болезни. Но на фронте все пришлось делать.

Как ты резал, если не умеешь?

Немного умею, мне трудные операции не давали, только отрезать, если совсем не годится.

Не годится что?

Если рука или нога служить не может. Тогда операция простая, берешь и отсекаешь.

Потом протез?

Это в тылу, не знаю.

Сколько рук и ног ты отрезал?

Он вздохнул, - не знаю, со счету сбился, это война, Алик, давай забудем.

А теперь он вернулся в клинику, где работал до войны.

Он пришел веселый, - другое дело, нормальные люди болезнями болеют. Съел кашу? Пошли, надо до обеда успеть.

Мама говорит, вы идете? Сёма, осторожней, вдруг мины еще ...

Мы только по дорожке, как-нибудь до воды доберемся.

Мы поехали на трамвае, его недавно пустили, а потом долго шли по узкой тенистой улице с маленькими деревянными домиками. Это улица Лейнери, я здесь когда-то жил, папа говорит, только дома этого уже нет. Некоторых домов, да, не было, только развалины. Наконец, мы вышли на плоское место, заросшее травой. Впереди пустое небо, запах неприятный, и шум, несильный, но постоянный, так в уши и лезет.

Это море шумит.

А где оно?

Тебе не видно, давай подниму. Он взял меня на руки, посадил на плечо. И я увидел впереди серую широкую полосу, а над ней почти такое же серое небо только чуть посветлей, и на нем очень белые облака, таких белых у нас не было. Когда мы жили в Тюмерево, это деревня в Чувашии.

Осень, вот и трава пожухла, говорит папа, впереди песок. И окопы, пойдем осторожно. Мы пошли сначала по траве, потом вышли на песок, и я увидел море со своей высоты. Оно серое, но с белыми пятнами, потому что ветрено, от ветра волны, на них пена из воды и воздуха, они сплелись. Начались канавки, они шли вдоль воды, видно, что засыпаны, но не до конца, а к воде идет узкая дорожка, по ней можно идти, и мы шли, пока не подошли к темной полосе песка, мокрого, на нем валялись обломки деревьев, тряпки, железные ржавые вещи, и тут же везде лежали и шевелились от воды и ветра длинные зеленые, темные... как трава...

Это водоросли, они растут в море, а сейчас отлив. Потом вода их захватит, наступит на берег, будет прилив.

И она подойдет к нам?

Ну, мы ждать не будем, прилив не скоро.

Откуда ты знаешь, когда?

Каждые шесть часов. Луна своим притяжением воду за собой тянет, от земли не может оторвать, зато гонит волну, это прилив... Мы вернулись, Алик. Смотри, это наше море. Мы отсюда бежали, нас прогнали немцы, а теперь мы вернулись. Мы их победили, и снова будем здесь жить.

Потом мы пришли домой, ели кашу, но без шелухек, желтую, бабка достала пшено, и к нему кусок мяса, вареного. Я не мог разжевать, мама говорит, я тебе нарежу. Все равно, я с трудом ел, сухое трудно проглотить.

Зато ты ел мясной суп, говорит бабка. Суп не заметил, как съел, правда.

Мясо нужно есть, мама говорит, ты дистрофик. Теперь мы приехали, все пойдет как было, правда, Семен?

Как было, не получится, бабка говорит, и заплакала, вам придется все заново. А мне ничего не придется, только доживать.

И ушла за свою ширмочку. А папа с мамой остались сидеть, ничего не ответили.

Потом я ушел, сидел в кресле дяди Бера, кожаном, огромном, с плоскими твердыми пуговками.

Заново так заново, папа говорит, попробуем, мы не старые еще.

Утром говорили

Утром я сидел в общей комнате, бабка поставила передо мной кашу, не геркулесовую, а гречку, потому что суббота, чтобы праздничное настроение поддержать. В субботу евреи не работают, руками делать ничего нельзя, но есть можно, вот тебе повкусней, она говорит. Ну и жизнь, война кончается, а просвета не видно.

Мам, говорит мама, выходя из комнаты, она почти не одета, пошла помыться... мам, скоро все кончится, и мы заживем, как когда-то жили. До войны.

Только у меня в квартире, где и одному не повернуться, вот все, что нас ожидает, говорит бабка, она не верит, что получит назад свою квартиру, но надеется. Зина, ты бы оделась, Томас может выйти.

Наплевать на этого дурака.

А папа давно на работе, он снова главный врач, как до войны.

Лучше бы он забыл про руководство, вздыхает мама, простым врачом спокойней в наше время.

Он теперь партийный у тебя, говорит бабка, и с треском ставит на стол тарелку с кашей для себя. Иди мыться, каша остынет.

Тем временем из своей комнаты выходит Альберта, она плывет, как яхта на парусах, вчера мы с папой видели одну, он говорит, смотри-ка, в живых осталась... Чуть не заплакал. Я удивился, подумашь, кораблик с парусом. Но это живая история, папа говорит, до войны здесь было много яхт, мы катались, милое время, ни немцев, ни русских, только эстонцы, свои русские и капля евреев, так и жили.

А советская власть была?

Нет, тогда у нас была республика, по-современному - буржуи, народ страдал, нищий, голодный... Он посмотрел по сторонам и еще громче стал говорить, как плохо жили до войны.

Все неправда, бабка говорит, до войны жили чудесно, кто хотел работать, тот не страдал. Потом пришли русские бандиты, местные им помогали. А потом явился Гитлер, выгнал большевиков, но устроил еще хуже, хорошо, мы успели убежать, но мои мальчишки, мальчишки...

Она заплакала, слезы текут по морщинам.

Мам, что ты, говорит мама, обняла ее и тоже заплакала.

Я знал почему, у меня были дяди, мамины братья, Давид и Рувим, оба умерли, один недалеко, у немцев в лагере, второй на Урале.

Почему на Урале, я спросил, на Урале немцев не было, я знаю. Ведь мы жили в Чувашии, это ближе к войне, чем Урал, а немцев не было у нас. Мы тихо жили, правда, мало ели, масла и сахара не было, и я болею теперь. Не совсем болен, папа говорит, но парень слабенький, Зина, надо что-то делать. И мне почти каждый день дают вареное мясо, сухое, противное, хотя дорогое, и черную икру, которой много в магазине в городе, в ней источник железа, папа говорит, Алику нужно, чтобы сознание не терял. У меня иногда бывает, когда перестарюсь, например, на прошлой неделе, крутил мясорубку, вдруг ничего не помню, потом сижу на стуле, бабка меня обмахивает полотенцем... И как получка, папа несет мне баночку икры, а мясо бабка берет на рынке, мы туда ходим по воскресным дням, когда большой привоз. Я икру сразу съедаю, предлагаю всем, но никто не соглашается, мама говорит, я от икры болею, у нее аллергия на икру. А у меня аллергия на шоколад, как съем кусочек, все тело чешется, красные волдыри.

Так почему он на Урале был?

Папа вздохнул, он листовку подобрал немецкую, он был наш солдат. Немецкий знал как русский, хотел почитать. Дурак.

Почему дурак?

Нельзя поднимать, вот и оказался в лагере, правда, хорошо, их даже выпускали в деревню поработать за еду. Умер от воспаления легких, бабка ездила на могилу, только не спрашивай у нее.

Бабка перестала плакать, мама ушла мыться, а Альберта, она стояла у окна, пока бабка плакала, подошла к столу и говорит, надеюсь, вы скоро уедете... Глаза у нее большие голубые, сама в халате, красивая дамочка, мама говорит, только без сердца.

Как это без сердца я спросил, если сердце на миг остановится, папа говорит, сознание теряешь.

А вот так, нет сердца и нет, мама говорит, ни стыда, ни совести у нее. Но Бер ее любит, и терпит, думает, Томас пройдет как дождь.

Альберта постояла, постучала пальцем по столу и тоже ушла мыться, в конце коридора еще одна ванная, буржуйская квартира, папа говорит, Бер умеет богато жить, он адвокат, знает, где деньги лежат, не то, что я, лопух.

Вы и есть лопух, бабка ему говорит, к вам люди приходят, поставь диагноз, лучше всех в городе ставили, многие помнят. Поставь да поставь, только денег не платят, пользуются добротой.

Папа вздыхает, откуда деньги у них...

Но иногда попадается богатый пациент, тогда у нас пир горой. Целая курица, например. Или мясо не вареное, а тушеное с картошкой.

Я боюсь, говорит мама, подпольные пациенты нас посадят.

Подпольные как партизаны?

Это мы партизаны, только вернулись, и снова в беду попасть?

Партийные не должны частной практикой заниматься, но парня нужно подкормить. Это папа обо мне говорит.

Партийны, партийны, говорит бабка, партийные моего сына убили.

Никто не убивал, папа нервничает, стучит пальцами по столу, трагические обстоятельства сложились, не забывайте, война. Пусть многое вам не нравится, но русские нас спасли от немцев, разве нет?

Лучше бы меня не спасли, только вас жалко, попались, раздавят и не заметят. Жить в маленькой стране надо, там спокойно.

Мам, говорит мама, мы живем, где живем, а тихого на земле не осталось, только в Африку куда-нибудь.

Не забывай про новую страну, бабка говорит.

Что за такая новая, папа против, наша страна Эстония, а теперь Союз, осторожней с этими разговорами, сами знаете. Приехала, видите ли, фрау, уговаривала ехать, сво-о-лочь, она же всех под нож поставила, не понимает, что ли...

Кто это приехал я спросил у мамы, она говорит, новое государство будет, только для евреев, уговаривают ехать, не понимают, куда мы после этих разговоров поедem - совсем в другую сторону.

Зачем, ведь мы не хотим никуда?

Затем. Мы евреи.

Это что?

Национальность, больше тебе знать не надо.

Но я уже знал побольше, помалкивал, ел кашу и думал, что не хочу в школу.

Не хочу, не хочу, мама говорит, вот заладил, еще год дома сидеть, ни друзей, никого, совсем одичаешь.

Не одичаю, я с тобой буду ходить везде.

Она смеется, ладно, годик походим, потом учиться, а то я тебе читаю, читаю, а ты никак читать не хочешь, а когда тебе надо, голова на месте.

Зачем мне читать, она мне и так читает.

Вот я перестану читать, тогда тебе придется, она говорит, но читает и читает. Я думаю, ей самой интересно, привыкла вслух читать, меня учили, говорит, в театральной студии. Давно, до войны. Это как будто до смерти жизнь была.

Но мы же не умерли.

Она говорит - Алик, случайно остались, нам больше, чем многим повезло. Вырастешь, цени, нас могло и не быть.

Ну, да! Я не поверил, как бы мы сейчас были, если б нас не было бы.

Можно въезжать

В один день у нас не было обеда, бабка исчезла с утра, мама дала мне кашу и яичницу, это она умеет готовить, а потом пили чай. Не успели допить, пришла бабка в длинном красном платье, темном, с бусами на шее, мама говорит, это бордовое платье, «мама красавицей была, очень похожа на портрет незнакомки». Я удивился, совсем не похожа, портрет у нас на стенке висит.

Это не портрет, мама говорит, а репродукция, картину сфотографировали, потом в журнал поместили, а я вырезала, пусть висит, уж очень на маму похожа.

Но я даже подумать об этом не могу, такая бабка некрасивая. Хотя обо мне заботится, Алик, ты где, Алик, ты что... есть, мыться, спать... Но она меня не любит, хотя говорит «у меня никого теперь, только дочь да ты». А папа?

Она о нем вечно забывает. Он, конечно, хороший человек, говорит, а потом снова забудет. А вот мыть меня никогда не пропускает, хватает острыми когтями за шею и гнет прямо под воду, чтобы мыл лицо. Я этого не люблю, говорю ей - сам, сам, но она не верит, сам не будешь, у меня тоже мальчики были, никто мыться не хотел. И плачет. Вода ледяная, а чтобы текла горячая, надо топить колонку брикетами, они как коричневые камни. Надо сначала колонку разогреть бумажками или щепками, иначе брикет не загорится, но если уж загорелся, тепла много. Только потом золу ведрами выноси. Папа говорит, ладно, вынесу вечером, мама говорит, нет, сейчас. Ты вечно забываешь, а у меня зола в горле стоит. Но хорошо хоть брикеты дали, потому что ты главный врач. Вот видишь, есть толк от главного, она говорит.

Мне толк надоел, вздыхает папа, я медицину люблю. А от меня воспитания требуют, я ведь партийный кадр.

Бабка говорит, смотрите, Сёма, кадров в первую очередь...

Вы слишком, такая война прошла, теперь другая жизнь, врагов уничтожили уже.

Враги всегда найдутся пока мы здесь, не забывайте, кто мы.

Так вот, бабка явилась, и села с нами чай пить. Что у тебя - яичница? Я так и знала! Есть не хочу. Они вчера убрались, можем въезжать, все спокойно получилось. А насчет альбомов и прочего, уверяет, не трогала, лежат в подвале, всю войну там и лежали, говорит. А где столовое серебро, гравюры, постельное белье, мебель... все, все, все? Но разве докажешь, что было, что не было, бежали как от пожара, в одних пижамах. Алика в корзинке... Хорошо, я рис схватила, пакет, без риса он бы не выжил, поезд этот, жара, сплошной понос... Да ладно, главное, въезжаем, тесное место, да свое.

Бабка наливает себе чай, а пить не стала. Пошли, говорит.

Куда, сейчас? Ребенку спать пора.

А где твой муж, на работе горит, главный?

Мама ничего не сказала ей, а мне - беги в постель, я записку напишу.

Но тут пришел папа и говорит, вы с ума сошли, ночами по улицам бегать! что вы со мной делаете... С меня только что часы сняли, хорошо, жив остался. Ты кто, спрашивают, я говорю - врач, иду к больному. А, врач... ну, иди, только часы отдай, нам нужнее.

Я удивился, и ты отдал им свои часы? Большие квадратные часы, их подарил папе мой дед, поздравил сына с дипломом врача. Папа никогда не расставался с часами. Мне хотелось, чтобы он дрался за них и победил этих, а он просто отдал часы - и все?

Он увидел мое лицо, засмеялся, понимаешь, хотелось скорей домой, устал, проголодался, а тут эти дураки со своими просьбами, отдай и отдай. Ну, отдал, зато уже дома.

А оружие было у них?

Нет, сынок, похоже, что нет.

Зачем же отдавать?

Ну, знаешь... они могли и рассердиться. А так все обошлось.

Хорошо, что обошлось, но папа оказался не героем. Мама стала его ругать, что приходит поздно, когда-нибудь плохо кончится, сам ходишь по ночам, а меня учишь...

Я должен людям помогать.

Вот люди часы и отняли.

Да, ладно... им тоже есть нужно.

Они бандиты.

Не все так просто.

Ты бы пошел в бандиты? Вот и молчи.

Он больше не отвечал, ел быстро, проголодался. Никуда, они, конечно, не пошли, бабка ушла к старухе Хансен поговорить о прошлой жизни. Она всегда по вечерам уходит, я всем мешаю, говорит. Приходит поздно, крадется в темноте за ширмочку, она в углу за ширмой спит. Она быстро захрапит, а я еще долго лежу, слушаю.

Он спит?

Не спит...

Очень деликатно с ее стороны, папа говорит, не ожидал.

Не так уж плохо она к тебе относится.

Да ладно... теперь у нее будем жить, авось учить не будет, не те времена.

А те были хорошими, мама вздохнула.

Тихие, счастливые, но легкой жизни не помню.

Конечно, ты между двумя семьями разрывался.

Ничуть не разрывался!.. Но ведь там мой сын...

Какой еще сын, я про сон забыл, какой-то еще сын появился...

Наконец, у нас будет своя комната, мама говорит. Алика отправим к маме спать.

Я думал обидеться, но не успел, заснул, а утром решил, насчет сына показалось, спать я могу у бабки, а днем у меня будет свой уголок, мама обещала, значит, так и будет, как она говорит.

Приехали

На следующий день поехали, в таких делах важно быстро, бабка говорит, захватчиков хватает, потом опять три месяца по судам? Погрузили в грузовик три чемодана, две сумки, старый сундук большой, Бер дал для хлама. Сели на вещи и поехали.

Твой брат ничего хорошего не даст, мама говорит.

У него своя семья.

Он тебе обязан. Они солидно окопались, со своей Хансен, вроде не евреи, немцы не тронули ничего.

Не завидуй, радуйся, что кому-то повезло. У Бера сердце больное, и Альберта ни туда, ни сюда.

А у тебя здоровое?

Как это ни туда, ни сюда, я спросил, папа усмехнулся, тебе рано.

Ваш брат слабохарактерный, бабка говорит, она папе неприятные вещи говорит на Вы.

Он помолчал, потом говорит, Юлик должен появиться.

Мама обрадовалась, это папин второй брат. Она его любит, он философ, во время войны жил в Сибири, теперь ему, может быть, разрешат вернуться.

В Таллине ему жить нельзя, папа говорит, но он будет близко, все-таки у нас теплей, чем там. Папа никогда не говорит, где Юлик, - далеко, и все. Юлик писал статьи в газету до войны, словно с цепи сорвался, надо было думать.

А что ему думать, детей нет, жены нет, мама говорит.

Таня его жена, она вернется с ним.

Бросьте, Сёма, не вернется она, бабка говорит, очень ей нужен ссыльный еврей. И что ей делать там, в лесу, детишек учить манерам? Она до Москвы доберется... ищи, свищи.

Мам, не нужно так плохо о людях думать, мама говорит, Таня умница, а Юлик гений, что только от него осталось?

Как это осталось, я спросил.

Не вмешивайся, могло ничего не остаться, тебе рано понимать.

Детей учить ему не позволят, папа говорит, а в вечерней школе работать может.

Ты все заранее знаешь, вдруг позволят.

Не понимаешь еще, где живешь.

Где, где, я домой приехала.

Мы долго ехали, на другой конец города, зато наш новый дом недалеко от школы. Рядом русская школа, пойдешь на следующий год. Едем через садик, здесь раньше росли цветы, дикие розы, мама говорит, а теперь все раскопано, видно, недавно картошку выкопали. Вот до чего докатились со своими немцами, картошку в городе сажали, чтобы прожить.

Ты, Зина, просто прелесть, отвечает бабка, забыла, как ходила по деревням, кусочек масла найти для сына. Вот и кашляешь, надо к настоящему врачу, домашний доктор не врач.

Мама бледная, а кашель у нее всегда.

Для тебя всегда, не помнишь, какая она здоровая была, бабка говорит, маленькие ранние годы забывают.

И я забуду про сейчас?

Про сейчас уже не забудешь, ты взрослый, но не совсем. Слава богу, у тебя еще время есть, взрослым быть страшно, не спеши. Сёма, стукни шоферу про здесь - направо.

Папа не успел стукнуть, шофер дорогу знал. Мы въехали в тесный переулок, с одной стороны маленькие деревянные домики с заборчиками, с другой торчит большой желтый дом, четырехэтажный, очень грязный и кривой. Я сказал маме, она говорит, тебе кажется, это рядом с ним все кривое. Это и есть теперь наш дом. За ним каменный сарай с окнами, непрозрачными от пыли, мама говорит, это мастерская, здесь пилят дерево. Да, раздается визг, потом тишина, и снова визжит пила.

Пилят редко, деревья нет, бабка вчера уже все узнала, после суда ходила по улице вдоль дома, ключи ей еще не дали, а то бы побежала наверх.

Мы поднялись на второй этаж, там четыре двери, вот эта наша, на ней печать, бабка ее сорвала, роется в сумке, ключ не найду...

Дай, помогу, мама говорит.

Нет, я сама, сама...

Достала, наконец, большой длинный, как флаг, начала совать его в дырку и все мимо, мимо... мы стоим, ждем...

Наконец!

Дверь заскрипела, отворилась внутрь, и я увидел темную переднюю - и сразу обе комнаты, проходные, они залиты светом, а паркет... я такого не видел, большие плитки, темные, натерты чем-то, потому что блестят.

Хоть квартиру оставили в хорошем виде, мама говорит.

Я заставила все убрать, чтобы их духу не было.

А где они теперь, я спросил.

Там, где раньше жили, у нас в подвале, бабка отвечает, она истопница и дворник, папа устроил ей работу, пусть еще довольна будет.

Оказывается в подвале много комнат, там можно жить, правда, окошко под потолком, зато рядом в комнате котельная, всегда тепло, даже зимой, так что им неплохо там, и нечего было бабкину квартиру занимать.

Папа говорит, они тоже хотели пожить как люди, воспользовались. Евреев не стало, и многие не евреи тоже уехали, которые были за русских.

Вы все можете объяснить, бабка говорит.

Я не оправдываю, чужое брать никогда нельзя, запомни, Алик.

Вот-вот, а говорят, старая мораль.

Паркета в подвале нет, зато доски отличные, папа говорит.

А ты откуда знаешь, спрашивает мама, ходил, что ли, к ней, опять ты за свое...

Брось, просто знаю, мы им ремонт делали в подвале.

Они не заслужили, воры, бабка против ремонта.

Забудьте, Фанни Львовна, папа отвечает, они не враги, им не больше нашего повезло. А мне - идем, поможешь принести альбомы и все такое, что осталось от прежней жизни у нас.

Удивительный человек, бабка вслед ему говорит, все объяснить может.

Ах, мам, оставь, ему на войне не сладко было.

А мы с папой уже шли в подвал.

Другая жизнь

С первого этажа лесенка вниз под землю, налево коридорчик, узкий, но длинный, и там двери с обеих сторон, в маленьких темных комнатках навалены старые вещи, потом большой зал-котельная, потом комната, где эти люди, которые в бабкиной квартире жили. За дверью у них тихо, наверное, притаились, знают, что мы идем.

А потом еще одна дверца, у папы оказался ключ, мы вошли.

Узкая как щель комната, пол каменный, большими серыми плитками, вдоль двух стен полки деревянные, высоко под потолком окошко, видно, как по улице ходят ноги. Скоро начнут топить, в этом подвале неплохо, папа говорит, давай посмотреть, что осталось от нас.

Очень мало осталось, толстая ткань с узорами, от нашей ширмы, в ней завернуто несколько книжек толстых, вот и альбомы... лампа старая керосиновая, картинка... Потом я рассмотрел, не картинка, а деревянная желтая дощечка, грязная, если присмотреться, там вырезаны деревья, люди, папа говорит, сделано ножом, это японская работа, как отчистить, не знаю. Альбомы давай посмотрим здесь.

Может, наверх понесем, там светлей?

Он подумал, нет, сначала посмотрим сами. Чуть-чуть. Положил альбомы на нижнюю полку, поближе к окну, чтобы удобно было смотреть, мы стояли и смотрели.

Это кто, рыжий пузатый?

Папа засмеялся, отец твоей мамы, дедушка, он умер до войны, слава богу, не дожил, он бы не вынес, бабушка сильней.

А это кто?

Мой отец, тоже твой дед, он умер еще раньше, от старости.

А это?

Не узнаешь? Твоя бабушка.

Не может быть, она такая красивая была?

Красивая и капризная, мучила мужа, а он ее любил.

А она кого любила?

Она сыновей любила, и немножко твою маму.

Один мой дядя был толстенький и рыжий, а второй высокий и темный, я впервые увидел, какие они были, странно, что их нет.

А у нас есть наши фотокарточки?

Алик, не было времени сниматься, теперь будем. Ну, что же, не так страшно, пойдем наверх.

Почему страшно?

Он не знал, что ответить, думал.

Понимаешь, другая жизнь была, и кончилась, война все перевернула, а нам надо жить, пореже вспоминать.

Квартира

В квартире мне больше всего понравились окна, из них видна площадка с травой и кустами, через дорогу, а сама дорога узкая и тоже в больших камнях, но не та, на которую выходишь из подъезда. Сначала я не понял, как это, а потом сообразил, наш дом как остров между двух дорог. За площадкой тоже деревянные домики, за ними большие каменные дома, скучные, но это далеко от нас.

Я выглянул в окно, прямо под нами сарайчик, крыша на уровне первого этажа, там уголь для отопления дома, мама говорит. По крыше бегают собачка, гремит жестью, мама спрашивает у папы,

неужели та самая? Он плечами пожал, возможно, говорит, для нас вечность прошла, война, а для собаки - четыре года, они могут и больше прожить.

Мама засмеялась, а мы?

И мы... если повезет. Папа тоже засмеялся, а бабка говорит, наконец-то смех в нашем доме, заплакала, но быстро перестала. Значит, собачка та самая? Бабка отвечает - похожа, я бы спросила, только с хозяйкой не хочется дела иметь, она не рада, что мы вернулись.

Мама говорит, ты права, мало кто нам радуется, хотя с немцами им тоже не сладко было.

Можно мне на улицу, я спросил, надоели разговоры.

Сначала поесть... но у нас нет ничего, мама только идет на рынок, мама говорит. Нет, есть хлеб, он мягкий, вкусный, я раньше могла его есть без всего.

Без чего?

Ты разве масла не помнишь, я же покупала.

А, да, я вспомнил, противное - жирное.

Я взял, хлеб мне понравился, он тает во рту, папа говорит, когда голоден, во рту все тает. И я пошел на улицу.

Только если что, сразу домой, говорит мама. Я не понял, что если что, пошел посмотреть, как наш дом стоит, и что рядом.

Да, в кухне понравилась шафрейка, это в стенке в углу узенький шкафчик спрятан, треугольный, в нем два отделения, большое внизу, три полки, на них даже бумажки остались, старые газеты, немецкие, бабка говорит, сейчас выброшу эту гадость, чтобы ничего от времени, когда нас не было. А верхнее отделение высоко, там отдельная дверца, я на табуретку встал - треугольная каморка маленькая, в задней стенке круглое отверстие прямо на улицу, из него пахнет свежим воздухом.

Все здесь как было, как было, как было, бабка все время говорит, в шафрейке продукты можно хранить, не портятся.

Только мы вернулись не все, она говорит, не все, не все.

Ольга и Сильвия

Утром мы с мамой пошли за хлебом, на углу хлебная лавочка была, она говорит, заодно посмотрим, как там...

У подъезда стоит женщина с метлой, наверное, дворничиха. Мама остановилась и говорит - Ольга, что было то было, давайте не ссориться больше, вам не нравится, но мы вернулись. У нас нет зла, пусть эти вещи...

Какие вещи, дворничиха говорит, она не старая высокая женщина, видно, очень сильная, метла в большой руке. Она больше мамы в два раза, я испугался, вдруг стукнет метлой... Какие вещи, все продано, проедено, мы выжить хотели, у меня дети.

И даже прибавился один ребенок, мама говорит.

Ну, и что, у меня немец жил, офицер, потом его убили, когда русские бомбили город. Они весь центр на кусочки разнесли, а немцы ни дома не тронули. А ребенок не при чем.

Мама ничего не сказала, потом говорит, зачем же чужое брать.

Я родилась в подвале, в нем умру, мы хоть пару лет пожили на воздухе, в сухости, кто мог знать, что русские победят, а их евреи вернутся.

Не все, не все, сказала мама, осталось немного.

Она отвернулась и пошла, слезы по щекам льются.

Я за ней, а тетка стоять осталась, я понял, это она занимала бабкину квартиру.

Маме ничего не говори, сказала мама, ты большой мальчик, должен понимать.

Улица оказалась короткой. Сначала лесопилка, дом низенький, но широкий, стены из больших камней, серых, неровных, мама говорит, их выкапывают за городом из земли. Потом несколько деревянных домиков, и поперек нашей идет другая улица, Томпи, она тоже, как наша, в круглых камнях, вбитых в землю, ходить по ним трудно, зато такая дорога вечная, мама говорит, раньше умели делать простые вещи, а теперь подавай асфальт, он ровней, зато каждый год чинить приходится.

В конце нашей улицы стоит желтый домик деревянный, вход со двора, там крыльцо, над ним вывеска, по-русски написано ХЛЕБ и еще одно слово непонятное, это по-эстонски хлеб. Мы вошли, там деревянный пол, все деревянное, блестит, чисто и светло. Было несколько человек, они разговаривали с продавщицей, низенькой толстой женщиной с белыми кудряшками, она все время смеялась, давала хлеб, считала деньги и смеялась.

Люди отходили весело, наконец, мы подошли, толстуха посмотрела на маму, охнула и говорит - Зи-и-на... И мама заплакала, они обнялись через прилавок, очень неудобно было стоять, но они так стояли, и обе плакали. Потом эта женщина, Сильвия, начала быстро говорить по-эстонски, смотрела на меня, гладила по голове.

Мы еще поговорили, взяли серую булку, даже две, называется сепик, мама сказала, очень полезный хлеб, наполовину ржаной, и пошли обратно. Я хотел пойти еще по новой улице, но побоялся просить, мама плакала, говорит, милая Сильвия, мы в детстве играли с ней, она придет к нам, папа до войны ее мужа от смерти спас. У него болело в груди, а оказывается воспаление в кишке, только папа сумел узнать, а если б не узнал, ее муж бы умер. А теперь он все равно умер, его немцы застрелили.

За что, я спросил, она говорит, случайно, у них этот магазинчик сто лет, муж ехал на машине за хлебом и попал под обстрел, немцы с партизанами боролись.

Здесь тоже были партизаны?

Здесь все было, такая каша, не разберешь. А теперь у нее ни мужа, ни магазина, она продавщица в нем. Как в жизни все перемешалось, то, что мы хотели и ждали, оказалась не таким, а то, чего боялись, не хотели, теперь нестрашным кажется, и даже милым, как вся наша довоенная жизнь, это сказка была.

Папа ей говорит, не сказка, как быстро плохое забывается, и слава богу. Меня в больницу не брали работать, потому что еврей, и я работал врачом на заводе, разве не так?

Так, так, она говорит, только очень трудно теперь.

Это из-за войны, он говорит, а если б ее не было ...

Если б не было, бабка говорит, мои оба мальчика на Урале были бы закопаны, а что, неправда? Ты очень партийный стал.

Не забывайте, Фанни, русские нас спасли, и дали нам все, что сумели.

Немного они умели, когда ворвались сюда, среди летнего дня до войны. Они хлеба белого не видели, по улицам разгуливали в пижамах, думали, красивая одежда такая.

Опять вы со своими анекдотами, папа говорит, я не об этом говорю. А... он махнул рукой - надо выжить, вы дома, а я на виду, и должен знать что говорить.

Бабка не ответила, ушла готовить обед.

Как будем жить

Еще мне плита понравилась, у нее три входа, с одной стороны двойной вход, сверху топят, снизу выгребают золу, с другой стороны большие ворота, духовка, можно печь пироги, только бабка печь не умеет, бегаёт к своей сестре Циле, та ее учит, но говорит каждый раз - забудешь, тебя, Фанечка, бесполезно учить, ты у нас красавица-незнакомка. Цили печет еврейское, бабка часто приносит, в бумаге завернуто, и мы с чаем едим по вечерам. А кроме духовки, на самой плите в углу дверца поднимается, под ней большой бак с водой, она нагревается, когда плита топится, и можно горячей водой мыть посуду, не нужно чайник нагревать.

У окна столик, для обеда всем места мало, но за ним можно сидеть, завтракать одному, смотреть в окно на площадку. Пол в кухне не паркет, а коричневый линолеум, в двух местах, у стола и у двери, дырки в нем, видны доски. Надо сменить, сказал папа, а бабка - нет, нет, это Рувим прорезал, пусть будет. Папа не стал спорить, и в комнате работы хватит, нужен стол для бумаг, и нет кровати, это главное. В задней комнате они будут с мамой спать, наконец, вдвоем, папа говорит, а в передней комнате мы с бабкой, здесь нужно ширмочку поставить, она думает, чтобы кровати не видны, это моя гостиная была. Мам, говорит мама, зачем нам гостиная, к нам теперь некому ходить... хотя ты права, поставим круглый стол, как было, да? Вдруг кто-нибудь еще вернется из

друзей? Где только достать такой большой стол, с одной толстенной ножкой, она с узорами была... места за ним хватало всем.

Я снова не то сказала, говорит.

Но бабка не расслышала, надо на кухню, притащила много всего с базара, ужасно дорого, как мы проживем?

Пойду работать.

Посмотри на себя, Зина, тебе лечиться надо, а не работать.

Ничего, главное, мы вернулись. Теперь все пойдет как надо, ничего. Мальчику до школы год остался, уже большой.

Я спросил, где же спали твои братья, если стол большой, для кроватей места мало.

Они перед войной отдельно жили, но каждый день приходили к маме.

Ты тоже каждый?

Нет, мы ругались. Мама всегда хотела, чтобы было по ней, а я упрямая.

Да уж, бабка говорит, нашла коса на камень. Но не рассердилась, улыбнулась даже.

А когда маленькими были, как вы умещались?

Бабка подошла к стене - тут была дверь, за ней еще три комнаты, теперь они в соседней квартире.

Понемногу мы начали здесь жить.

Ходим на базар

По утрам бабка берет сумку, идет со мной на базар. Она не любит со мной ходить, мне без тебя легче торговаться, у тебя терпения никакого. Я ей говорю, купи скорей, а она - ты не понимаешь... Но я, все равно, хочу с ней ходить, там интересно, шумно и страшновато - перед входом нищие поют песни, вернулись с войны и не доехали домой, или никого у них... размахивают руками, у многих нет пальцев, обрубки остались. Один парень без ног, его зовут Костя, разъезжает между всеми на тележке, отталкивается от земли двумя деревяшками, голова курчавая... и смеется. Что же он смеется, я не мог понять. Другому, у которого совсем рук нет, льют водку в горло, он булькает, мычит, струйка течет на подбородок. Бабка крепко сжимает мою руку, мы проходим мимо. Я спросил ее, может надо им бросить монетку, она говорит, все равно пропьют... и не могу я к ним подходить, не могу... На базаре не так шумно. Больше продавцов мужчин, старых, они эстонцы, продают белую свинину и кровь в больших бидонах с бурыми крапинками, рядом с бидоном всегда стакан с розовыми пятнами от пальцев. Чтобы попробовать.

Домой шли другим путем, через дворы, так ближе, потом мимо высокого забора с колючей проволокой наверху.

Здесь пленные немцы?

Да, бабка говорит, хоть бы скорей увезли отсюда.

Иногда я видел их — в серых одеждах, с серыми лицами, они тихо переговариваются, странный твердый у них язык. Их иногда пускают по домам просить еду. Как-то постучали, я побежал открывать, к нам редко приходят гости, и я каждый раз радуюсь. Открыл — там стоит человек, у него одежда солдата, только грязная, старая. Он смотрит на меня, молчит, лицо длинное худое. Я не знал, что делать, он смотрит на меня, а я на него.

Тут подошла бабка, сказала ему что-то по-немецки. Он покачал головой, тихо ответил, и стал спускаться по лестнице.

Ты что ему сказала?

Нечего тут ходить, вы нас убивали, евреев, а теперь он просит хлеба, ничего не дам!

А он?

Что ответил, что ответил... какое мне дело. Так поступали не все, ответил, прости меня господи, если ты есть, но нет тебя, иначе мои мальчики были бы со мной.

Мама говорит ей, ты не права, мам, в самом деле, не все.

Бабка рукой махнула, понимать не хочу.

Потом немцев увезли, на их место привезли других пленных, они по-русски говорили, я слышал, когда мимо проходил. Им по квартирам ходить не разрешали.

Свечи

У нас часто отключают свет, и мы зажигаем свечи. Керосиновая лампа тоже есть, но мама не выносит запах, начинается кашель, воздуха не хватает. Как это не хватает, я не мог понять, а она мне говорит - тебе лучше не понимать, милый, я не совсем здорова.

Из-за этого мы боялись керосина, и в темноту жгли свечи. Бабка говорит, ну, и что, когда я была маленькой, электричества еще не придумали, но мы не в темноте жили.

А что вы жгли?

Уже не помню, и керосин, и свечи, и какие-то огни были, только не эти шарики Эдисона.

Какие шарики?

Эдисон изобрел лампочки, в которых спиралька нагревается и светит. Читай книги! вырос дылда, а читать не хочешь, там все написано, кто, что, зачем... Какой же ты еврейский парень. Не будешь учиться, придется на заводе вытачивать одну и ту же штуку сто раз, и так всю жизнь. Евреи учатся, чтобы хорошую работу иметь. Почему, почему... Потому, что нас не любят, мы все должны делать лучше других, иначе пропадем. И делаем. Не пьем водку, как русские, и не такие тупые, как эстонцы.

Мам, говорит ей мама, прекрати отравлять ребенка глупостями. Пусть читать начнет, а эти дела ему не надо.

Мальчик должен знать, иначе привыкнет, а это нельзя, к свинству привыкать.

Нельзя, но приходится, мама смеется.

Бабка тоже засмеялась, погладила меня по голове, я от злости, не слушай, люди хорошие есть у всех, только немцам и русским не верю больше. А свечи всегда были, еще моя бабушка при свечах выросла, и ничего. Вот именно - бабушка! и ты называй меня прилично, я не «баба» и не бабка, а бабушка, или Фанни Львовна, или просто - Дама, так меня называли до войны.

Как Незнакомка?

Я не хуже была, господи, что ты сделал со мной, и это жизнь?

Ты же не веришь в бога.

Не верю, но если он есть, то злой дурак или преступник хуже немцев и русских.

Мама засмеялась, вот Сёму бы сюда, он любит говорить о боге, а сам Ленина переписывает, каждую неделю доклад, врачи, сестры, все, кто не умер, должны слушать. На, на, возьми свечку, спички, только осторожно, чтобы я видела. Это она мне, и я сразу беру, пока не передумала.

Ты с ума сошла, давать ребенку спички, бабка вырывает все у меня из рук, зажигает одну свечу, дает ее мне, а вторую, темную, холодную, в другую руку - подожги теперь сам.

Мам, говорит мама, мальчику шесть с половиной, дети растут быстрее, чем вы хотите.

Мы, может, и медленно росли, но вырастали, а вы теплитесь как свечи.

Но я уже не слушаю, занят свечами, в одной руке горит, в другой темная еще. Темную, холодную наклоняю над светлой, теплой и прозрачной. Нужно подержать, иначе не подожжешь. Маленькое пламя захватит кончик фитиля, мигнет пару раз, разгорится, и тогда пожалуйста — ставь свечку на блюдце. Чтобы стояла, ее надо прилепить воском. Нагнешь над блюдцем, покапаешь — и тут же прилепляй, пока воск мягкий. Вообще-то это не воск, а парафин, искусственный, из воска теперь свечи не делают. Поджигаю свечку и несу ее в темноту, свет качается передо мной, волнуется, тени обхватывают его со всех сторон, и они вместе танцуют по стенам и потолку. Открываю книжку — буквы и рисунки шевелятся, по странице пробегают тени. Мой Робинзон только собирается в путешествие. Мама гораздо быстрее читает, у Робинзона уже друг есть, Пятница, а я потихоньку иду за ними по следам, знаю, что будет, и мне легче представлять, как я на острове с ними разговариваю.

У мальчика много воображения, папа говорит, - оттого и не читает, прочтет строчку - останавливается. Я знаю, сам такой был.

Может и так, говорит мама, но скоро школа, а он не готов, он должен знать все лучше других.

Успеет узнать, так приятно ничего не знать, если б ты знала.

Не знала и не узнаю, ты безответственный человек, вот и веселишься.

Иначе не выжить, иногда повеселиться не мешает.

Все собираются вокруг свечей, становится тепло, уютно, никто не бежит, не спорит, не ругается...

А потом — раз! — и вспыхивает другой свет — сильный, ровный, а свечка, желтенькая, мигает, будто ослепла. Кругом все становится другое - места больше, голоса громче, кто-то говорит - «ну, я пойду...», кто-то говорит — «пора, пора...» И свечку лучше погасить, можно даже пальцем, если быстро. Свечи ложатся в коробку в буфете, темные и холодные. Свет больше не спорит с темнотой - каждый знает свое место. Бабка говорит - «наконец-то» и идет готовить ужин.

Но папе все равно дают талоны на керосин, и мы берем, керосин можно обменять, приезжают люди из деревни, ходят по домам, надо ли картошку, капусту, у них растет, и мы платим за еду керосином. В лавочку за керосином посылают меня, дают в руку копейки, я иду с бидончиком через дорогу, это не страшно, машины у нас почти не ездят, за нами две короткие улочки, потом парк и море. Правда, у моря госпиталь, там шумно, раненые кричат из окон, а по выходным танцуют на площадке между каштанами. Я раньше не видел такие большие листья, а каштаны в толстой зеленой кожуре с колючками, как мины с рожками, когда падают, раскалываются, а внутри коричневые каштанки, блестящие, гладкие, только в одном месте посветлей пятно.

На наших улочках около дома тихо, старые камни на дороге, как раньше, мама говорит, все вроде как раньше, только нас уже нет.

Как это нет, вот мы.

Ах, Алик, это разве мы, это тени. Не слушай меня, тебе жить, жить. Тебе скоро семь, она говорит, пора видеть людей, а у тебя глаза повернуты внутрь, никого не видишь.

Оставь его в покое, папа говорит, я тоже такой был, еще насмотрится.

Ты в жизнь не веришь, мама говорит, а я все-таки, все-таки - верю.

Он вздохнул, я верю в вас, а больше не знаю, во что верить. На работе знаю лекарства, то, сё... Люди болеют, я могу помочь. А нам кто поможет. Кто тебя выручит, когда я умру, Бер? Или Юлик, бездомный, где он сейчас?

Она засмеялась, ты что, умирать собрался, пятидесяти нет... Потом заплакала, что с нами война сделала.

Ну, что ты, он говорит, погладил ее по плечу, они при мне целоваться не любят. То один утешает, то другой.

Я знаю, надо верить, он говорит, только кругом как на вокзале, кто-то приезжает, кто-то насовсем уехал, а некоторые живут так далеко... Мы не привыкли к жизни такой.

А ты иди, иди за керосином, мама говорит мне, вот тебе деньги, бидон, что сказать, знаешь.

Под столом

В зеленом деревянном домике напротив лавочка.

Сбоку дома вход в подвал, лестнка вниз, там пахнет ваксой, продают керосин, всякие щетки и что-то еще, я не смотрел, думал, что сказать, и хватит ли денег.

Как-то стоял в очереди, сзади спрашивает человек, он по-русски плохо говорит, но понятно - ты доктора сын? Я говорю - да. Хорошо, что он вернулся. Привет от Олафа передай, он меня помнит, я знаю. Седой, сгорбленный старик с меня ростом, чуть выше. Папа говорит - Олаф, слава богу, жив, я верил, справедливость победит. Но он не старый, лет сорок пять ему, как мне. Если Олаф вернулся, значит, и другие могут.

А кто другие?

У меня еще брат есть, Юлик, его выслали перед войной, ошибка, конечно, получилась, а потом война. Ему даже повезло, те, кто остался здесь, погибли.

Евреи?

Он подумал, говорит, не только.

Почему немцы злые?

Гитлер был, а немцы разные, многие боялись. У меня друзья есть немцы, я там учился.

Забудьте, где учился, бабка говорит, и про тех друзей, они нам больше не друзья.

Вы ошибаетесь, папа не согласен.

Они начали спорить, а я ушел, у меня свой домик, под новым письменным столом. Вообще-то он не новый, но такого большого стола я не видел раньше, и сразу понял, чем он хорош. У него две

толстые тумбочки с ящиками, а между ними ничего, снизу пол паркетный, сверху крышка, а сзади главное - теплая батарея, и я здесь сидел, в своей берлоге.

Смотри, Зина, мальчик дичает, дом себе придумал под столом, бабка говорит, он из домашних детей, но меру надо знать, где его друзья?

Вот в школу пойдет, будут и друзья и враги, мама говорит, а пока пусть посидит, подумает.

О чем ему думать, ребенку...

Думать всем нужно, говорит папа, он поздно приходит, сидит за столом, когда я сплю, а в остальное время домик мой. Мне дали туда одеяло, и я там сижу, думаю.

Ты лучше почитай, говорит мама, но я читать не люблю, я слушаю, как она мне читает. Нет, я читаю, но понемногу, прочту полстранички и думаю, представляю, как это я там живу, на острове...

Тебе пора самому читать, мама недовольна мной.

Но самому долго. И я люблю сидеть под столом, думать, что еще со мной будет.

Так уж случилось.

В воскресенье мы с папой ходим к морю. А в субботу утром мы дома, все вместе. Но по утрам у мамы болит голова, у нее низкое давление. А у бабки просто плохое настроение. А у нас с папой хорошее, они нас не понимают. И мы все спорим, немного ругаемся, а к обеду миримся.

Сегодня мама говорит, я совсем недавно родилась, и почему со мной все именно так случилось? Могло не быть этой войны, все бы шло тихо, мирно...

А я был бы?

Наша жизнь вообще случайность, папа говорит, и то, что ты у нас появился, тоже случай, мог быть другой человек.

Но они бы его также назвали – давно готовились, и решили. В нашем городе когда-то жил мальчик, его звали как меня, он маме в детстве нравился очень. Я его никогда не видел, мама рассказывала, его взяли в армию, и он сразу погиб. Утонул.

Странно, во время войны, и утонул?

Он плыл на корабле из Таллинна. Корабль немцы потопили, а он плавать не умел.

И мне досталось его имя. Мама хотела, чтобы у человека все было красиво, имя тоже. Откуда она знала, что я буду такой?

Папа говорит, не знала, но догадывалась, это генетика, в каждом записано, какой он будет, и какие дети, все уже известно. Кроме случая. Важно, какой подвернется случай.

Ты всегда надеялся неизвестно на что, мама говорит, она верит только в свои силы.

Бабка ни во что не верит, она вздыхает – где моя жизнь... А деда я не видел, он умер до войны. В нем все было красиво, бабка говорит, но его имя тебе не подошло бы, теперь другие времена. Его звали Соломон, это уж, конечно, слишком. Его так не случайно называли, у него дед был – Шлема. Тогда можно было так называть, а теперь не стоит, и мне дали другое имя.

Чтобы не дразнить гусей, говорит папа.

Не стоило дразнить, соглашается мама, а бабушка вздыхает – у него все было красиво... И я, конечно, похож на него, это генетика. Но как случилось, что именно я его внук, а не какой-нибудь другой мальчик?

Я думал все утро, почему так получилось, ведь меня могло и не быть, а он сидел бы здесь и смотрел в окно. А может она?

Дочки не могло быть, мама говорит, она знает.

Откуда ты берешь это, папа говорит, еще запросто может быть.

Нет уж, хватит, и так сумасшедший дом, он меня замучил своими вопросами, что и как, а я и сама не знаю, почему все так со мной получилось...

По-моему, все неплохо, а? – папа почему-то начинает злиться, дрыгает ногой, он так всегда, если не по нем.

Я вовсе ничего не хочу сказать такого, просто непонятно все.

Наоборот, мне все теперь понятно! – и папа уходит, но недалеко, садится за стол, ему опять Ленина нужно переписывать. Он смотрит в книжку, потом пишет в тетрадь красивым почерком, он работает.

Дед так никогда не поступал, вздыхает бабушка, в воскресные дни какая работа... Он мне руки целовал, и платья покупал.

Ах, мам, говорит мама, совсем не все так солнечно было, про Берточку вспомни...

Что, что Берточка... подумаешь, ничего у них не было.

И она уходит на кухню, ей расхотелось спорить, надо готовить обед.

Сумасшедший дом, говорит мама, никакой памяти ни у кого, и тоже идет готовить еду.

Я остаюсь один, у окна, тот мальчик с моим именем давно умер, захлебнулся в ледяной воде. Мне становится холодно, хотя топят. А как бы он, если б остался жить, и был бы у них вместо меня... как бы с ними уживался?

Тебе предстоят трудности, говорит мама, главное – верить в свои силы.

Все-таки важен случай, вздыхает папа.

Мы пообедали, они давно не ругаются, играют в шашки. Бабушка приносит им чай, а мне компот из слив, потому что давно в уборную не ходил.

Тебе клизму, что ли, делать, думает мама.

Клизма это хорошо, говорит папа, современная медицина не отрицает клизмочку.

Не надо клизму, лучше компот.

Встреча

Я играл напротив дома, на площадке, там кусты и много снега. Лепил снежки и кидал их в дерево, и считал, сколько раз попаду; если много, то отхожу подальше, и снова кидаю. Мимо шел один мальчик, он немного больше меня, у него руки голые и курточка без воротника, ему холодно было, он все время дергался и дрыгал ногами. Я сразу понял, он хулиган, только русский или эстонский, не знаю. Я бы хотел, чтобы русский, если захочет драться, сразу скажет, а эстонец молча подойдет, а когда узнаешь, будет поздно.

Я сделал вид, что не замечаю, лепил снежки, но кидать перестал, пусть не думает, что хочу попасть в него. Он остановился, посмотрел, как я леплю, и говорит по-русски – давай, будем друг в друга кидать, кто больше попадет. У тебя запас, а я буду сразу лепить и кидать, и все равно тебя побегу.

У него руки голые, а у меня варежки, правда, промокли, но все равно голыми трудней лепить, и я согласился, хотя мне не хотелось в него кидать – не попадешь, значит, сдался, а попадешь, он хулиган, и может разозлиться. Но делать нечего, пусть кидает.

Он отошел немного и начал быстро-быстро хватать снег голыми руками, раз-два – лепит снежок и очень сильно бросает. Снежки у него, конечно, не такие крепкие, я-то их долго лепил, а он раз-два и готово, но он быстро лепил и сильно кидал, и начал попадать в меня. Я тоже кидал, и несколько раз попал в него, он разозлился, хотя больше в меня попадал, и стал кидать еще быстрее и сильнее. Наверное, мои снежки попадали больней, он их раз-два и готово, а у меня они крепкие. Я вижу, у меня снежки кончаются, а так быстро, как он, я лепить не умею. Но тут я попал ему прямо в лоб, он перестал бросать, решил поговорить со мной. Я понял, он будет драться, испугался, но бежать не хотел. Он толкнул меня, и говорит – ты что? Я говорю – ничего, ты сам хотел. Он опять меня толкнул, и ударил сверху по шапке, сбил ее. Я все еще боялся его, старался оттолкнуть, а потом вдруг разозлился и стал его бить, так быстро, что он удивился и побежал, и все время оглядывался, а я бежал за ним. Он иногда останавливался и бил меня по голове, не очень сильно, но каждый раз попадал, а я не попал ни разу, и все равно он убегал, а я его догонял. Потом он перестал оборачиваться, и побежал быстрее. Наша площадка кончилась, дальше я бежать не хотел. Он что-то крикнул с улицы и показал мне кулак.

Я шел обратно и думал – почему он бежал, ведь он столько раз меня ударил, хотя и не больно, и снежки лепил быстро, и сильно кидал, и попадал часто, а я редко, и все равно он бежал впереди, а я за ним. Разве я его победил? Я попробовал лепить как он, но у меня пальцы сразу заболели, и снежки получались как кисель. Потом я понял, почему он бежал – это не его площадка, ну, победил бы он, и что? Все равно я здесь живу, а он мимо ходит. А может он просто хотел поиграть со мной, а я ему в лоб? Все равно, он зря рассердился.

Больше я его не видел, а жаль – я бы спросил у него, как он так быстро лепит, и бросает, как машина, кто его научил, и почему у него пальцы не болят, а если болят, то как он терпит.

Сразу много всего

Мама мне раньше читала каждый день про Робинзона, полчаса, иногда больше, папа говорит, как этому парню повезло, дикари не съели, а меня каждый день грызут.

Как это грызут?

Вот так, он засмеялся, кусают как дикари. Хорошо бы от главного врача отказаться, денег меньше, зато спокойно буду лечить, а не командовать.

Даже не думайте, бабка говорит, они вас до самого низа тогда прокатят.

А мама ничего не говорит, ее нет с нами. Теперь мне с Робинзоном трудно встречаться, мы живем втроем - я, папа и бабка Фанни Львовна.

Один раз мама пришла, говорит, мы на время расстанемся, Алик, я в санаторий еду лечиться в сосновом бору, там воздух подходящий. Будешь приезжать ко мне. А книжку дочитай сам, иначе не узнаешь, что с Робинзоном будет.

Я давно могу читать, но не люблю. Как же я без нее...

А долго ты не будешь?

Наверное, лето, а осенью вернусь. Думаешь, мне хочется? Но кажется пора.

Да уж, бабка говорит, позавчера пора. Война у нас затянулась, лучше бы я тогда умерла.

Ну что ты мам, говорит мама, я скоро вернусь, а ты - бабушку слушай.

Он слушает, да не слушается.

Фанни Львовна, мы пошли, папа уже у двери, поцелуйте дочь.

Нет, только в щечку, мама говорит, вдруг палочка перескочит.

Это микроб называется - палочка Коха, ее немец нашел под микроскопом.

Палочка немецкая?

Нет, папа говорит, общая, у нее нации нет. Только люди могли нации выдумать. Мы этот микроб победим, не сомневайся.

Мама уехала, три месяца прошло, теперь мокрый август, холодный ветер, а она не едет. Тебя к ней не пустят, папа говорит, подожди. Сам-то он ездит...

Зима быстро началась, утром проснулся, в форточку сыплется противный снег, бабка оставила открытую. После обеда на улице темно, и так до следующего утра. Зима медленная смерть, бабка говорит, холод с темнотой, жизнь против нас. Мама бы ей сказала, ну, что ты, мам... но некому сказать, и папа на работе. Батареи еле теплые, пол как лед, под столом неуютно стало, и утром приходится быстро одеваться.

Вечером папа приходит поздно, я уже сплю.

Недавно я пошел за хлебом, еще было светло, бабка говорит, купи черного, у нас сало, маме отвезем и сами поедем, оно соленое, ты не ел такое. Одни ребра у тебя, сало не помешает. Она дала мне корочку пожевать, я быстро съел. Ну и зубы, она говорит, береги их, я свои потеряла. Но у нее другие есть. Утром просыпаюсь, бабка храпит, рядом тумбочка, на ней в стакане две челюсти с белыми зубами в марганцовке розовой. Ни за что нельзя свои зубы терять, она говорит. Сало помогает, ты тощий, глисты, что ли... Купи черного, с белым сало невкусное.

Я купил целую буханку, взял копейки на сдачу и пошел обратно, всего пять домов и лесопилка. На углу лесопилки меня встречает мальчик, он чуть выше меня, голова большая, сам очень худой. Я его уже видел, он стоял у домика напротив, смотрел, как мы с папой ходили к морю, шли мимо него. А теперь он не дает мне пройти, осталось-то всего лесопилка, потом наш дом. Я говорю, пропусти, он молчит, потом, ни слова не говоря, стукнул. Хотел, наверное, в лицо, попал в плечо. Не больно, но хлеб упал у меня, хорошо, в снег, он чистый. Я не испугался, он несильно стукнул, наверное, не сильнее меня.

Ты чего?

А ты зачем тут ходишь?

Он по-русски говорит, но ясно, что эстонец.

Я здесь живу.

Это я здесь живу, мой улица.

Мы вернулись.

Кто этот мужик с тобой гуляет?

Мой папа.

Нужно говорить отец. Ты доктора сын?

Да. Мы теперь здесь живем.

Подыми хлеб, это же хлеб.

Я нагнулся и поднял, хотя боялся, что он меня снова стукнет. Но он не стал, дай кусочек, говорит.

Я удивился, он мог бы сам взять, если меня стукнул, нет, он дай говорит. На меня не смотрит, только на хлеб. Я отломил, хлеб мягкий, он взял без спасибо, пошел через дорогу, где, наверное, его дом. Обернулся, говорит, ладно, ходи, будешь отдавать хлеб за пропуск. Я принес хлеб, бабка удивилась, дожидаться не мог, такой голодный? на улице только нищие бродяги едят. Я ей ничего не ответил, все обошлось. Так папа теперь говорит, у него неприятности, - все обойдется, не беспокойтесь, Фанни Львовна. Зато маме лучше, это лекарство чудо, антибиотик, американцы придумали. Бабка ему громко шепчет, я же говорила! никому ничего! Страшно подумать, откуда лекарство, а он трезвонит на каждом углу, где ваша голова, Семен Григорьевич.

Она его так зовет, когда недовольна.

Лекарство для больной, ничего такого, я на войне даже немцев лечил.

Лучше б не лечил, хоть бы все подошли.

Это неправильно, Фанни Львовна, хоть я понимаю. Зиночке начали колоть, и тут же результат, скоро дома будет. Старый друг из Германии прислал, тоже врач.

Значит, фашистов лечил, сам фашист.

Его в армию взяли как меня, что было делать, он лечил, а не стрелял.

Он лечил тех, кто стрелял, не забывай, Сёма. За дочь спасибо, но лучше молчал бы, может, не узнал бы никто.

А что я такого сказал... Но кто же это постарался, кто...

Кто, кто... те, кому надо. А, теперь что говорить, уже наболтал.

Она ушла на кухню, а папа говорит, теперь мама скоро вернется, лекарство что надо.

Почему у нас нет?

Когда-нибудь будет.

Поехали к маме

Наконец мы все поехали к ней. На электричке минут десять, папа говорил, но до этого долго ехать на трамвае, до последней остановки, сначала большие дома, потом скучная длинная улица с деревянными домиками.

Я спросил у папы, это не город уже?

Старый район, скоро маленький вокзальчик, теперь здесь электричка. Мы когда-то отсюда ездили на дачу, до войны. Море, большие камни, мы купались. У меня машина была, но мы любили на поезде кататься.

Куда же машина делась?

Он засмеялся, не знаю, оставил перед домом, а вернулись, даже дома нет, и мы поехали к Беру, помнишь?

Конечно, помню. Я даже обиделся, всего два года прошло.

Мы ехали долго, утром не светло, не темно, серый день, только снег освещает улицу, домики, заборчики, деревья без листьев и низенькие сосны, они кучками здесь и там, всегда с иголками. Трамвай едет медленно, часто останавливается, двери открываются, и ветер каждый раз по ногам. Мне стало холодно, ну вот, бабка говорит, плохо одели мальчика, я виновата. Под пальто у нее кофта шерстяная, она ее сняла, я говорю, нет, кофта женская. Она засмеялась, ишь ты, мужчинка, надела на меня кофту, замотала вокруг меня, а потом мое пальто сверху. «А мне ничего, жира хватает для тепла.» Мне сразу тепло стало. Народу мало, все молчат, папа на площадке трамвая смотрит в окно.

Он зимнее не одевает, думает, все еще мальчик в своем плащике, бабка говорит, - волнуется, они редко видятся. Папа твой - хороший человек, все обойдется, будете жить и жить.

А ты?

Моя жизнь до войны кончилась, теперь один серый день. Как-нибудь доживу, вас жаль, теперь надо зубами, зубами...

Я не понял, хотя зубы нужны, без них даже сало не укусишь.

Наконец, мы приехали, с обеих сторон горки, трамвай внизу в длинной яме, мы по лесенке поднялись наверх на одну сторону, там деревянный теремок, в нем окошко, внутри кудрявая голова, это кассирша в кассе, спрашивает, куда вам, сколько...

Папа говорит два взрослых, а мальчику надо?

Ходит в школу - нет? Еще не надо.

Папа отдал мне билеты, держи крепче, со следующего года и тебе билет. Пошли на перрон ждать поезда.

Мы вышли на деревянный длинный перрон, это платформа, на ней нет снега, еще было несколько человек, все молчат, только ветер злой, ждем. Наконец, справа тихий звук, потом все громче, свисток, к нам бежит яркий свет, хотя день, это фонарь впереди электрички. Она мчится мимо нас со свистом, я хотел сказать, как же мы... Вагоны мелькают, но все медленней, я понял, она остановится. Перед нами зашипела, открылась дверь, быстро входи! папа втолкнул меня, мы влезли, дверь с таким же змеиным звуком задвинулась, как дверцы в нашем шкафу из стенки вылезают, мама говорит удобно, и мы поехали, одна остановка, вторая, потом папа говорит - вперед! мы побежали к двери, успели, только выскочили на перрон, поезд умчался.

Электричку недавно пустили, папа говорит, раньше паровозик здесь ходил, вез вагончики, он два часа шел.

Не два, а час, бабка говорит, она за нами еле успевает, но не жалуется. Электричка не достижение, я эти вагончики любила, открытые, ветерок нас обдувал, мы на дачу ездили... и заплакала, она давно не плакала, и вот...

Папа нахмурился, то было летом, Фанни Львовна, а теперь зима, вы же видите. И технику не остановишь. Я тоже все помню, но что же нам делать, плакать целый день? Старая жизнь прошла... и молодость, что поделаешь.

Ты не старый человек, бабка говорит, была бы жизнь получше.

Мы прошли весь перрон, стали спускаться по сломанным ступенькам на землю. Бабка охает, где перила, они сто лет здесь были, вот ваша техника, сломали, зачем? Эстонцы так не делают, всё приезжие русские, приехали, никак не уедут.

Фанни Львовна, им некуда ехать, их страна разбита.

Вот и строили бы свою страну.

Мы шли, улиц не было, поле, через него дорожка в снегу, мне снег попал в ботинки, но тут же растаял и согрелся, мы шли быстро и молчали. Впереди показались маленькие домишки деревянные, среди них двухэтажный белый каменный дом, мы в него вошли. Там прилавок, сидела женщина, вязала из красной шерсти - куда пропуск, в седьмой? только до обеда, у нас строго. Знаю, знаю, я без пропуска, врач, а это родственники. Тетка тут же смотрит в записки, можно, палочек нет, поздравляю, доктор, но порядок есть порядок, сами понимаете.

Мы прошли мимо прилавка в другую дверь и оказались за стенкой, она окружает все домики. Папа знал куда идти, мы быстро шли, бабка пыхтела, но не признавалась, только отстала от нас на несколько шагов. Мы вошли в домик, там короткий коридор, несколько дверей, папа стукнул в одну, два голоса сразу говорят - можно, мы вошли.

Я видел ее

Комнатка маленькая, в ней две кровати, на одной, у двери, лежала толстая тетка, она сразу повернулась лицом к стене, а мама сидела рядом с кроватью у окна. Она увидела меня, встала и говорит, наконец, я с утра жду, что вы так долго. Обняла меня, но не поцеловала, от нее пахло травой или лекарствами, не знаю.

Ты скоро домой?

Да, я здорова, антибиотик вылечил. Пойдем, погуляем все.

Она долго одевалась, одежда здесь же в шкафу, им разрешают гулять и даже заставляют, и мы пошли.

Бабка говорит, ну вот, увидел маму, а теперь мы с тобой погуляем, они пусть одни, им есть, о чем говорить.

Может, мы с Аликом еще? мама говорит. Потом - нет, сказала, скоро будем вместе, иди, мало ли что.

И мы с бабушкой пошли мимо домиков, по снегу, я видел, как быстро растут тени, зажигаются в окошках огоньки.

Здесь люди живут годами, бабушка говорит, Зиночке повезло, что новое лекарство, у нас его нет, мы в лагере живем, хоть помирай, никому не нужны.

А раньше были нужны?

Нет, но страха не было, спокойно жили. Лет двадцать жили тихо, люди долго не терпят покоя. А до этой была еще война, тоже цорес.

Это еврейское слово неприятности.

Ты богатой была?

Она засмеялась, не богатой, достаточной, мы всё имели, пока твой дедушка был жив, а вообще евреев не любят.

Я спросил почему, она говорит, долгая история, но ты должен радоваться жизни, главного врага нет, остальное как-нибудь. Только учись, а ты мало читаешь, единственную книгу дочитать не можешь, что же с тобой будет?

Я хотел сказать, читаю, но не сказал. Я еще одну книгу начал читать, только никому не говорю, скажут, первую сначала дочитай, ничего до конца не делаешь. Хотя мамы нет дома, но бабушка может, они одинаково говорят. Только папа не скажет, погладит по голове - читай, читай... Но он все время занят. А я про Робинзона уже все знаю, прочитал в конце. Не радостно, но спокойно у него, как бабушка говорит. Жаль, что уехал с острова, ничего хорошего. Теперь книга испорчена, читать не хочется, все знаю. Мама дочитала до Пятницы, я до первых дикарей, и зачем только в конце прочитал... Теперь жду, пока забуду конец, может, снова буду читать. А вторая книга - «Что я видел», про мальчика в Москве, он много интересного видел.

Мы шли, шли, я замерз, хотя кофта теплая, наконец, повернули обратно, и я увидел вдали два человека, поменьше и повыше, это мама и папа, они понемногу шли навстречу. Я вижу, он большой, она маленькая, сказал бабушке, она говорит, не называй меня «баба», привыкли! Я дама, пусть старая, но ДАМА.

Ладно, пусть ДАМА, но я ведь правду сказал, она маленькая.

Дама засмеялась, говорит - все наоборот, мальчик, она сильная, он слабый. Быть хорошим в наше время... мало, ох мало.

Почему слабый?

Иногда она говорит непонятно, и заставляет мыться, очень холодно по утрам.

Она молчит, мы тихо шли навстречу.

Пока они вместе, все хорошо. Хотя я задумала ей другую партию, но война, все смешалось, что хорошо, что плохо. И я столько потеряла...

Потом глянула на меня, что это я, ты еще мальчик.

Тут они подошли, мама смеялась, и у папы радостный вид, представляешь, мам, говорит мама, он предложил мне расписаться.

Ах ты боже мой, очень смешно, мальчик в школу пойдет на следующий год. Но лучше поздно, чем никогда, а мне говорит - я была права, они дураки.

Мама засмеялась, пусть дураки, но пора.

Он на работе пропадает, бабушка говорит, плохого не замечено, война остепенила.

Мама засмеялась, ничего не сказала.

Мы еще немножко прошли вместе, потом она говорит, бегу на обед, такой порядок. Папа поцеловал ее, не провожаю, в следующий раз вернемся вместе.

Обратно ехали долго, но весело, в вагоне люди пели по-эстонски песни, в городе зажгли огни, и в нашем доме тоже светло, только домики напротив темные, там уже спали.

Мама вернулась

Три недели прошло, три субботы, три воскресенья, а ее все нет. Бабка говорит, надо убедиться, что в порядке, рентген, анализы... Субботы я помню хорошо, мы ходим на базар, там много народу в выходные дни, можно купить дешевле.

Мы с тобой грешим, бабка говорит, евреям в субботу запрещено работать.

Разве это работа?

Она засмеялась, представь себе, ведь ты гуляешь, а я думаю, что купить на мелочь у меня в кошельке. От нищеты устаешь, я раньше не знала. А потом варить, варить... думаешь, я люблю?

Наконец, мама вернулась.

Они приехали, стукнули в дверь. У нас света не было, а ключи папа на столе забыл. Только мама встала на порог, у вас пыльно, говорит, сбросила пальто, схватила щетку и давай под кроватью шуровать - мне нельзя дышать пылью.

Ты с ума сойдешь от выдумок, при свечах мести!.. бабка говорит, я только утром вымела, пыли никакой.

Мама бросила щетку, схватила меня, прижала к животу, мне стало тепло, она вернулась. Папа не ушел на работу, мы сели есть, картошка и жареная салака. Они пили вино, а мне дали компот из яблок со сливами.

Мам, ты жарешь рыбу как я, мама смеется, - даже хвосты хрустят.

Это ты жарешь как я, бабка вечно спорит.

Когда ты жарила до войны? в кухню не заходила.

Да, да... я забыла совсем, яйца курицу учат.

Что у тебя на работе, Сёма, правду скажи.

Папа махнул рукой, ничего, оставили, главная теперь Золотова.

Эта сволочь?

Еще хорошо отделался, бабка говорит. Связь с границей, и только выговор. Сняли с руководства, а на работе оставили, учли что воевал.

Да, ладно вам... папа говорит, так даже лучше, снова простой врач, лечу, а не командую. А то забуду, как лечить, зря, что ли, немцы меня учили.

Еще смеется! Забудьте свою Германию довоенную, легкомысленный человек.

Оставь его, мам, говорит мама, все хорошо, мы вместе.

Только моих мальчиков нет.

Мой брат Гриша

Это было уже весной, мама говорит, сегодня воскресенье. Я удивился, что я маленький, дней не знаю? А она говорит:

Сегодня не пойдете с папой к морю. Пока ты спал, он уехал за твоим братом, скоро вернутся.

Какой еще брат?

У папы до тебя был сын, давно. Папа тогда жил с другой женой.

А где она?

Умерла во время войны в Ташкенте. Гриша ехал к нам в Чувашию, сам, через всю страну, потом учился в фельдшерской школе у папы, и его даже взяли на фронт. За пару месяцев до окончания войны.

Сколько же ему лет?

Он старше тебя на пятнадцать лет, считай сам.

Вот еще, я считаю хорошо, но складывать не люблю.

Тут открывается дверь, входит какой-то взрослый дядя, невысокий, как папа, с двумя чемоданами в руках, а третий папа несет, идет сзади, улыбается.

А, Зи-и-на, привет, говорит тонким голосом этот человек, он молодой, но не улыбается.

Отец, это твой новый сын? - и показывает на меня.

Он меня видел до войны, но я в пеленках был замотан, он не мог разглядеть.

А он изменился, Гриша говорит, и очень громко захохотал, голову откинул, как папа, вот как привычки передаются, бабка говорит.

А, Фанни Львовна, это вы...

Я тоже изменилась, удивительно, что ты меня узнал.

Больше он на меня не смотрел. Мы обедали, он ел очень быстро, жадно, и чавкал, но бабка ничего не сказала. У него нос с горбинкой как у папы, а у меня прямой как у мамы. У него толстые щеки, он всегда ест и ест, как только представится возможность, он говорит. И может спать сидя, и стоя, и даже на пять минут заснуть. Скажет, через пять минут проснусь, и пожалуйста.

Нервы у тебя как у матери, мама говорит.

Да, у нее было чему поучиться.

Все помолчали, потому что она умерла.

Потом они с папой сели напротив друг друга в кресла, и Гриша начал учить папу, как надо жить, нечего сидеть в большом городе, Зине надо в деревню, а доктора везде нужны. В деревне врачам бесплатно несут продукты, заодно поправишь сердце свое...

А что у папы с сердцем? Я не знал.

Папа слушал и улыбался, куда мы поедем, здесь наш дом, от них нигде не скрыться, ты еще молодой, не понимаешь. Некуда ехать, будем здесь выживать.

Нет, Гриша не согласен, надо ехать сам знаешь куда.

Ты сошел с ума, вместо Израиля поедешь в другую сторону.

Знаю, знаю... Гриша знает, как жить. Я не сумасшедший, буду ждать момента, не пропаду. Я не хочу, как мама. Как вы...

Они начали спорить, а я ушел, залез под стол, хотя пол даже там холодный. Мой старший брат оказался скучным. Потом стало тихо, он ушел, я вылез.

Невежа, даже попрощаться не явился, мама говорит, папа пошел проводить. Он будет жить недалеко, в маленьком городе у озера, он фельдшер, крепкий парень, не пропадет.

Он-то не пропадет, бабка говорит, зато мы пропадем. Он на сто процентов прав, надо бежать. Сёма на виду, они не простят ему.

Ах, мам, говорит мама, о чем вы... все уже позади, прошло. Жизнь хороша, пока мы вместе.

А что такое шизик?

Бабка рукой махнула, и ушла.

Ну вот, мам, ты меня всегда в трудный момент оставляешь.

Та на кухне засмеялась, выкручивайся, твой сын.

Шизик сумасшедший, неправильно думает, больной человек.

А кто не боится, тот шизик?

Шизик ничего не боится, он главное потерял.

Вот я шизик, говорит бабка, и приносит на тарелочке варенье, маленькие яблочки как сливы, только прозрачные, желтые, на длинных веточках.

Это райские яблочки, меня Циля угостила, завтра пойдем к ней в гости. Циля моя сестра, ты видел ее.

Конечно, на улице встречал. Она к нам не ходит, длинный путь, она хромает, с детства нога больная. А бабка часто бежит к ней за советом, как что варить, уйдет и до вечера, а мы голодные сидим. Мама рассердится, идет и варит яичницу, только глазки растекаются. А Циля все знает, как готовить. Кроме еды с ней не о чем говорить, бабка смеется, но она добрая сестра, жаль только, муж идиот, целыми днями качается на кровати.

Мам, мама смеется, не качается, а молится, ты старый человек, должна понимать.

Я понимать не хочу, о чем преступника просить. А вот кто настоящий шизик, так это ее Арон.

Мы у Циля

Утром мы с бабкой пошли к Циле, трамвай туда не ходит, а пешком долго, она в старом городе живет. Здесь воздух сильно пахнет брикетами, топят печи для тепла. Но домик красивый из серого камня, узкий с высокой острой крышей.

Карабкайся по лестнице, я за тобой, бабка говорит, эта лестница меня добьет.

Ступени узкие, плоские и даже с выемками, бабка говорит, люди и камень протрут. Лестница заворачивает по кругу, одни стены, и наверху дверь.

Бабка толкнула дверь, дура, душа нараспашку, как до войны живет.

Мы вошли. Коридорчик, впереди большая комната, направо клетка стеклянная, в ней кухня, там ходит, переваливается с бока на бок большая старуха, одной рукой мешает поварешкой, другой трясет что-то в бутылке, и разговаривает сама с собой. Она не слышала, что мы вошли, бабка постучала в стекло. Циля увидела нас - Фанни, наконец! идите в комнату, я сейчас. Мы вошли, здесь просторно, светло, два очень высоких узких окна... везде набросаны вещи, нет даже свободного стула.

Ну, Циля... всегда так!

Бабка скинула вещи на кровать, которая в углу, мы сели у стола. Из кухни дверь прямо в комнату, входит Циля, у нее две огромные тарелки в руках, я делаю мясо, пробуй, это кисло-сладкое мясо, мальчик, ты такое в жизни не ел, правда, Фанни?

Куда мне, говорит бабка, но не злитесь, я вижу, она Цилю любит. А ты не ешь?

Ешьте вы, я буду смотреть, мне приятно. До двух держаться, я зуб лечила с утра.

Мясо с коричневой картошкой, очень вкусное, но страшная куча. Я уже наелся, а тарелка еще полная, и я вилкой ковырял, чтобы Циля не рассердилась. Бабка говорит, если хочешь Цилю рассердить или обидеть, ешь мало, она умрет от тоски. И я делаю вид, что ем, немного отдыхаю, а потом мне снова захотелось, и я все съел. А бабка свою еду поковыряла и на кухню отнесла. Циля ей ничего не сказала, только махнула рукой.

А вот мальчик молодец. Алик. Русское имя, да?

Почему русское, Александр евреям дают. Греческий царь, он евреев не трогал.

У Алика второе дыхание есть, далеко пойдет, говорит Циля. Еда еврейский спорт, мы чемпионы по еде. Тебя не беру в расчет, Фанни, ты русская красавица у нас.

Почему русская, я что, хуже тебя?

Наоборот, лучше, мы простые, а вы капиталисты. А, теперь все позади. Теперь все равны, да?

Бабка засмеялась - все, кто выстроились, кроме начальников. А где твой?

В синагоге вестимо, уговаривает бога быть с нами подобрей.

А ты?

А я как всегда, придет, мясо на столе, значит, боженька помог.

Мы поели, посидели и ушли, обратно снова долго, я даже устал, с таким набитым животом трудно гулять.

Почему Циля к нам не ходит, она же не сильно хромает, и на базар ездит в наш район?

Стесняется папу, он образованный, а она простая.

А где ее дети?

Не было. Она старше меня, замуж вышла в сорок, никто не брал хромую.

У нее красивое лицо.

Ты думаешь... Еще никто не говорил, надо ей сказать.

Не надо.

Стесняешься. Хорошее сказать не стыдно.

День рождения

Однажды в году дарят настоящие подарки. На день рождения, конечно. Новый год не в счет, там всем что-то раздают, шум, суета, и каждый смотрит, не лучше ли у другого. От этого устаешь, и подарок кажется маленьким, неинтересным. Всем дарят, просто день такой. Говорят, Новый год начинается. Откуда они знают, когда он начинается? Я спрашивал, никто не отвечает. Папа говорит, просто люди договорились, надо же когда-то новое время начинать. Мало ли о чем можно договориться... Правда, Новый год никто еще не отменял, многие праздники поменялись, а этот остался. Приятно, папа говорит, никакая власть его отменить не может.

Но если подумать, разве я виноват, что старый год кончился? А день рождения я заслужил, жил, жил – и добрался до конца своего года. И вот они, подарки...

Лежат на тумбочке около кровати. Бабка рано уходит на кухню, готовит что-то вкусное к обеду, к завтраку она не успевает. И я здесь в уголке один. Через дырку в ширме вижу окно. Бабка говорит, здесь раньше не было дыры, ширма единственное, что осталось с довоенного времени. Кроме альбомов, они были завернуты в эту материю. Раму папа заказал, не такая красивая, как старая, он говорит, зато куда прочней, так что ширма нас переживет. А на месте дырки был рисунок знаменитый, бабка говорит, хорошие деньги они выручили. Зато теперь я вижу окно. Второй год на этой квартире, второй день рождения у меня здесь. Помню еще третий, в квартире у дяди Бера, давно, а дальше не помню. Дядя так и не вернулся, переехал в Москву жить, у него теперь другая жена.

Все-таки решился, а я плохо о нем думала, бабка говорит.

А папа не радуется, я брата потерял, когда еще увижу...

Чудак вы, Сёма, главное, он живой, бабка всегда права.

А с подарками случаются удивительные вещи, мама говорит. Мне до войны подарили огромного медведя. Мы уехали, бросили все, наш дом разбомбили, а мишка у моей подруги сидел, я его починить отдала. Как приехали, он к нам вернулся.

Я про этого мишку сто раз слышал, теперь он на верхней полке в темноте сидит. Мне его немного жаль, никто не играет с ним, я больше с игрушками не играю. Но все равно, он дома живет.

Я уже не помню, как жили при войне. Алику хорошо, мама папе говорит, я бы хотела все забыть - войну, и особенно до нее, мне бы легче стало.

И меня забыть молодого?

Тебя нет, она смеется. Забыть чего лишилась, чтобы не жалеть.

А я ничего забыть не могу, бабка говорит, для меня жизнь один бумажный лист, на нем все записано, не вырубешь топором.

Она родилась в июле, не наша порода, а мы с папой в октябре, в один и тот же день. Вообще-то, я на десять минут опоздала, мама говорит, другой день начался. Врача упросила время рождения изменить, на бумаге, конечно. Так что у Алики записано двенадцать без пяти, с Сёмой в один день, отцу приятно.

Я подслушал, она подруге Соне по секрету говорила. Подумаешь, секрет, пятнадцать минут, все равно мы с папой близко родились. Только разные года.

Я родился еще в старом веке, в нем Пушкин всю жизнь прожил, папа говорит.

А я родился еще до войны.

А я еще до той войны, он говорит.

Какой той?

Да ладно тебе... он засмеялся, успеешь эти войны сосчитать.

Утром сумрачно в комнате, темно, дует ветер из форточки – мама закаляет меня, и слышно, как шлепаются капли о стекло. Впереди зима, темнота, желтый, тусклый свет. И все-таки – день рождения! Я добрался до конца собственного года. И чтобы веселей было дальше жить – подарки...

Они притаились в темноте, ждут, когда я проснусь. А я уже давно не сплю, смотрю на тумбочку. Не очень они возвышаются... Но бывают невысокие длинные подарки, очень нужные, например, фонарик, мне его подарили в прошлом году. Он круглый, длинный, с большим прозрачным окошком в одном конце, в другой вставляются батарейки. Он бы светил до сих пор, если б не упал у меня. Мама говорит, я варвар, потому что вытекла батарейка. Другую я сам разломал, одной все равно маловато. Папа обещал новые купить, если будут в магазине, и у него в тот момент окажутся деньги в кармане, и он не забудет, как обычно. Все вместе у него редко получается, то денег нет, то магазин переехал на другую улицу. Но когда-нибудь он соберется с силами. Так говорит мама – соберись с силами, Сёма... Перед днем рождения он собирается, и вот – подарки.

Не очень длинные подарки, они умещаются на тумбочке. В прошлый раз что-то свешивалось, я даже подумал, что шнур от машины-самосвала. Не выдержал, протянул руку, а это, оказывается, салфетка, они решили салфетку постелить, для красоты. Подарки, правда, оказались ничего, но самосвал остался в магазине. И не очень нужно, в нем батареек, говорят, хватает на полчаса, потом катать его сам, а что в батарейках, я давно выяснил. Папа обещал другой фонарик, особый, пока его нет в продаже. Сам светит, ему батареек не надо.

Так что фонарика среди подарков быть не может.

Они не высокие, не длинные, и не круглые, подарки... Значит, мячика тоже нет среди них. Ну, и хорошо, мячик трудно найти в траве, ходишь рядом и не замечаешь. Надо не просто глазеть, как ты, а видеть, мама говорит. Смотреть легко, потому что глаза даны, а вот видеть...

Сейчас мне даже смотреть трудно – еще темно. Я лежу и жду. Понемногу идет время, первый день моего нового года. Ветер старается для меня, разгоняет тучи, в окне становится светлей. Я вижу, на тумбочке что-то чернеется плоское – одно, непонятной формы – второе... и еще, что-то тонкое, длинненькое, совсем небольшое...

Я уже знаю. Догадываюсь, конечно. Насчет плоского почти уверен. Это книга. У меня две любимые книги, про Робинзона и «Что я видел», а эта? Я думаю, та самая, о прошлом земли, которую видел у Эдика, и даже начал читать, сам! Очень медленно, правда, но все понял. Но он домой не дал – пода-а-рок, говорит. Начало интересное – как произошла земля. Какая-то звезда вырвала из солнца клоч, получились планеты, они закружились, завертелись, остыли, и появилась на них жизнь. И в конце концов, родился я. Осенью, и сегодня мой день рождения.

Насчет второго подарка... Я думаю, это полезная вещь. Она тряпичная. Это не очень интересно, но нужно. Может, рубашка или даже штаны. Штаны бы лучше, в старых карманы продрались. Мама говорит, это необратимо. Без карманов штаны неинтересны. А в новых просто должны быть карманы.

Насчет третьего подарка – не знаю. Может, мне показалось, там просто тень, и не лежит ничего? Если очень хочется, то кажется.

Я лежу, не спешу вставать. Когда все потрогаешь, ждать нечего будет.

Этот парень меня удивляет, папа говорит, он умеет ждать, я не умею до сих пор.

Он в меня, мама говорит.

Не, в меня...

И так они спорят почти каждый день, но не ссорятся. Пока бабка есть не позовет. А сегодня выходной, и день рождения, сначала пойдем к морю, потом обед, потом придет Эдик с тетей Соней, принесут подарок, будем есть крендель, пить чай.

Вот настоящий первый день. Какой там Новый год... подумаешь, договорились. А я жил и добрался до своего собственного дня.

У нас Мара

Она в доме инвалидов живет, после войны у нее другого места нет. Мама говорит, надо бы ее взять на время, пусть поживет в нормальном доме.

Бабка ничего не сказала, Мара ее двоюродная сестра, но они не дружат. Сами решайте, а место где для нее, где? В комнатах восемь и десять метров, с ума сошли. Я в своей квартире за ширмой живу.

А потом говорит, я не против, пусть до лета поживет, все-таки у нее больше никого. В переднюю можно топчанчик втиснуть.

До лета еще зима и весна, и Мара у нас живет. Маленькая старушка с кривой спиной, сзади у нее под толстой шерстяной кофтой огромный бугор. Я думаю, это не спина, что-то внизу подложено, и не может чувствовать, когда трогают. Каждый день подкрадываюсь сзади, Мара сидит в больших железных очках, лицо белое как мукой обсыпано, губы вытянуты хоботком и непрерывно жуют, но у нее во рту ничего, кроме двух розовых челюстей, как у бабки, только у нее зубы побольше; она тоже по вечерам кладет их в стакан с марганцовкой, так что теперь у нас и в комнате и в передней зубы отмокают. У Мары своя лампа и маленький столик перед кроватью, и больше ничего в передней не помещается. Мара сидит перед своей кроватью на низкой скамеечке, спиной к нам, покачивает большой головой с широким розовым пробором, волосы у нее желтые и редкие, она смотрит в газету и слегка раскачивается, как Цилин муж Арон, который молится целыми днями, сидя поперек кровати. Мара не молится, она в бога не верит, говорит, я философ, и вообще, будь что будет. Я подкрадываюсь, протягиваю руку, еще немного и дотронусь, наконец, узнаю, что в этой шерстяной возвышенности на ее спине таится.

Но она все видит, слышит, и, не поворачиваясь, говорит мне – "нельзя".

Я делаю вид, что ничего такого не хотел, а только подошел с вопросом, к ней все обращаются с вопросами, она все знает и дает ответы. Потом ей говорят – Мара, кушать... – она встает и ковыляет к столу. Здесь она удивляет всех, потому что непонятно, как может столько еды поместиться в небольшом теле, да еще кривом. Она за столом рассказывает истории про людей, которые страдали от обжорства, а она им советовала поменьше есть, и даже совсем пропускать некоторые дни, это, полезно. Она ест, ест, и даже бабка, ее двоюродная сестра, вздыхает, но ничего не говорит.

Но вот наступает особый день – среда, Мара за общий стол не идет, она голодает, она сидит на своей скамеечке и читает, пока мы едим. Когда народ расходится, Мара вытаскивает из-под кровати корзинку, в ней несколько старых книг и бумажный пакет. Она долго разворачивает хрустящую бумагу, наконец, развернула, там пара больших желтых пачек, это ее любимая "Кама", лечебная мука. Мама смеется, обычный овес, только размолотый, но Мара знает лучше, и никто, конечно, не спорит с ней. Пусть голодает, ей полезно, считает папа, он ведь врач. Пусть очистится, он говорит, у нее столько шлаков... Я смотрю на Мару – где ее шлаки? Наверное, в спине, в той самой возвышенности, которую она не дает мне потрогать, она как часовой на посту, со своей горбатой спиной в толстой шерстяной кофте.

Она берет пачку своей любимой муки, и говорит мне – принеси кипяточку... как нищий на рынке, я слышал, у него такой голос.

Бабка вздыхает – Мара замаливает грехи.

Какие грехи?

Она не объясняет, молча наливает в большую кружку горячей воды из чайника, только что вскипел, и я несу, правой рукой держу за ручку, левой поддерживаю правую руку, потому что тяжело.

Неси осторожно, и подальше от себя, говорит бабка, а то давай я...

Нет, я сам, сам – и я несу на вытянутых руках горячую воду для особой еды, которая очищает Мару и лечит, так она говорит, хотя все сомневаются, но никто не спорит, потому что Мара все знает лучше, у нее муж был философ.

Мама говорит – он был старик.

Она же тоже старая.

Тогда она была молодая.

А спина такая же?

Спина у нее такая всегда. Муж ее любил, он говорит – Мара, ты философ лучше меня. И она никогда не готовила, они ходили в ресторан до войны.

В ресторан ходить дорого, но Мара была богатой, а муж бедный, старый и философ.

И он получил молодость, богатство, и горб в придачу – это говорит папа, когда его кроме мамы никто не слышит, и меня, конечно, потому что я слышу и знаю все, что говорят в комнатах и на кухне. Я все знаю и могу, только дотронуться до Мары не удастся, хотя стараюсь каждый день. У Мары немцы сожгли мужа. Она уехала, а он не успел.

Это темная история, хмурится папа, но не нам ее осуждать.

Мэрочка не виновата, говорит бабка, он, как всегда, где-то бродил, а тут машина, никто ведь не знал, что последняя.

Очень странная история, говорит мама, ей следовало подождать.

Не будь такой решительной, отвечает папа.

А ты когда решительный? Тебя взяли, одели в форму, впихнули в поезд, ты о нас ничего не знал, пока не нашел в этой деревне, в Чувашии.

Не ссорьтесь, дети, нас мало осталось, говорит бабка, обвинить легко, а защититься трудно, всего не объяснишь, чужую судьбу руками не разведешь.

Мара ставит кружку на колени, у нее специальная досочка, как столик, и начинает готовить полезную еду. Наклоняет пачку над кружкой, трясет ее, и ничего не получается, пар сразу смачивает желтую как песок муку, она не хочет сыпаться в воду. Тогда Мара говорит мне – принеси ложку, и, подумав, добавляет – пожалуйста, она держит это слово, как золотой рубль, бабушка говорит, у нее есть один золотой, на похороны, пусть держит. И вот слово сказано, сегодня среда, прошла неделя, я

бегу за ложкой, бабушка тут же подает ту самую, которую Мара любит – большую, темную, это серебро, осталась одна у нас, остальные мама обменяла во время войны мне на молоко и масло.

А Мара тогда жила на юге, она всегда устраивалась, не хуже, чем твой Бер, мама говорит папе.

Папа молчит, он плохое слышать не любит.

Не осуждай, и тебя не осудят, отвечает за него бабка, Мара с детства больная, у нее спина.

Я сам вижу – спина, но что в холме под шерстяной старой кофтой, не знаю – мягко там или твердо, а, может, как нарыв – переливается... а может кость, твердая как камень? или вдруг окажется, сверху что-то привязано, а на самом деле спина как спина? И как она спит, тоже никто не видел, она ложится в своем уголке, лицо покрывает простыней, и храпит. Но стоит кому-нибудь приблизиться, Мара тут же – кто там?.. высовывает большой белый нос, смотрит, не идет ли кто трогать ее спину.

Негров надо освобожда-а-ть, она жует губами, – но только постепенно, иначе взбесится, свобода тяжкая ноша, да-а...

Мара, вы рассуждаете как фашисты, сердится мама, у нее нет высшего образования, как у Мары, она не может объяснить, но всегда за справедливость. Папа молчит, потому что он специалист, Сёма узкий специалист, Мара говорит, все врачи такие, ему нечего сказать о неграх. Бабка тоже молчит, что она может сказать? Как сегодня на рынке? Фанни Львовна, вы же образованная женщина, папа говорит, когда спорит с ней. Я все забыла, она отвечает, и от знания мир лучше не стал.

А Мара верит, что знание сила, и что простая мука ей поможет. Она, наконец, достает из пакета полную ложку с горкой, еще одну, и еще, и размешивает, мука постепенно намокает, темнеет, из желтой становится коричневой, красноватой, падает на дно, падает, падает, а Мара все размешивает, размешивает, пока не получится грязноватое болотце, и она, вытянув шею, несет ложку ко рту, и, вытянув губы трубочкой, всасывает эту жижу, и несет новую ложку, она лечится, очищается от шлаков...

Потом до ужина она сидит на своей скамеечке, кривая, белая, даже не смотрит в газету, жует губами, о чем-то думает, трясет большой головой с редкими желтыми волосами.

Ужин, Мара, иди! – и она идет, ест... у нее спрашивают про жизнь, как зародилась без бога в горячем болоте, про негров, которых надо освободить, про еврейское государство, которое недавно образовалось... про все, все, все...

Потом она уходит в свой угол, я сижу за столом, доедаю кашу, вечно ты возишься, плохо жуешь, бабка говорит... оглядываюсь - в передней свет, на скамеечке кривая шерстяная спина... смотрю на спину, думаю – что там?..

Но Мара недолго жила у нас, после Нового года поругалась с бабкой, говорит, хватит, мне там лучше, с вами не о чем поговорить. И уехала обратно в дом инвалидов, у нее соседка тоже философ.

Катя

А топчан остался, пусть будет, бабка говорит, возьмем прислугу, мне надоело вам готовить, я тоже философом быть хочу.

И к нам приехала девушка Катя, бабка нашла ее на базаре. Она в деревне живет, там голодно, так что пусть у нас побудет, поможет мне за еду.

Пусть, говорит папа, скажем, она родственница вам.

Лучше вам, про меня соседи знают.

Катя ростом с маму, только гораздо толще, даже странно, ведь голод у них. Они от картошки пухнут, папа говорит. Волосы у нее кудряшками, мама знает, это завивка горячими щипцами, очень модная. Катя странно говорит, русские и эстонские слова вместе, и еще какие-то, никто не понимает. Так говорят только на границе России и Эстонии. Раньше была такая граница, а теперь мы одна страна. Катя ест больше, чем мы все, и даже больше, чем Мара ела. И ничего делать не хочет. Бабка заставляет ее хотя бы посуду мыть. Как только вечер, Катя бежит на танцы. У моря старая больница, там еще лечатся солдаты и матросы. Столько времени с войны прошло, а они никак не вылечатся. Папа говорит, там много калек, их некуда отправлять, дома нет, родных убили. Но не все калеки, есть больные солдаты и матросы. С ними большие трудности, они дерутся друг против друга после танцев. Папа говорит, странно, ведь воевали вместе.

У русских всегда так, бабка говорит, умирают как герои, а живут как волки.

Ну, мам, неправда ведь, все люди разные, мама отвечает ей.

Правда, правда, я долго с ними жила, знаю.

У вас односторонний взгляд на вещи, Фанни Львовна, считает папа, он конспектирует Сталина, говорит, он очень ясно пишет.

Делает еще ясней. Бабку не переспорит никто.

Но дальше все молчат, и она уходит на кухню, ужин не готов еще.

Мы с Катей дружим. Она любит на своем топчане лежать, когда дома никого нет. Иди, говорит, на животе покатаю. Я сажусь, у нее живот большой, мягкий, она меня качает и смеется. Скоро я от вас убегу, говорит, скучные вы люди, евреи.

Катя прожила у нас зиму, потом у нее живот еще больше начал расти. Мама говорит, это уже слишком, пусть обратно едет. У нее в деревне мать, правда, пьет, но все равно свой дом.

Катя уехала, а бабка говорит, оставьте мне топчанчик, я тут хочу спать. Как я раньше не понимала, здесь лучше, чем в комнате за ширмой.

Мам, смеется мама, это потому что в передней, у тебя родимые пятна старины.

Бабка рукой махнула, хватит старой дамой жить.

Я заболел

В декабре снег растаял, пошли дожди, и я заболел ангиной, потому что ноги промочил. Меня кормят малиной и красным стрептоцидом, таблетки как огонь, а потом тошнит. Зато я ем каждый день варенье, сколько хочу. Правда, приходится в кровати лежать. Но я могу весь день читать книги. Я читаю книгу «Что я видел». И про Робинзона, мне с ним не хочется расставаться, раскрою в любом месте, все интересно, хотя теперь уже знаю, что будет, раскрыл в конце и прочитал. Я каждый раз ему другие слова говорю, например, не уезжай, ничего хорошего там, или не сажай пшеницу, свиньи вытопчут. Он говорит, спасибо, откуда ты знаешь? Мне не хотелось, чтобы он с острова уехал, я сказал маме, она засмеялась, это все-таки сказка, человек не может быть столько времени один.

А как же я?

Ты разве один? У нас постоянно кто-нибудь дома.

К нам никто не приходит.

Она вздохнула, это все война, где наши друзья...

Я не поверил, что Робинзон сказка, там фамилия, и он сам рассказывает о себе.

Ну, она говорит, может быть, но вряд ли он там долго жил. Может несколько лет. Но я согласна, ничего хорошего потом не было, он от людей отвык. Вот и ты, сидишь дома, дома... Ничего, скоро пойдешь в школу, там много детей. Еще устанешь от них.

Но я раньше устал, ноги начали болеть, и ходят плохо.

Папа нахмурился, начал щупать ноги, взял трубку слушать сердце и легкие. Слушал, слушал... нет, говорит, своим я не врач. Позвал знакомого врача, тот тоже послушал, посмотрел на папу, и говорит - да, хотя мне не хочется тебе говорить.

Оказывается, у меня сердце заболело от ангины, и теперь я должен лежать, лежать, лежать... Зачем лежать? Но на следующее утро понял, встать не могу, так у меня болят ноги, руки, шея, и все, все... И я не могу перевернуться с одного бока на другой, больно. Не бойся, говорит папа, главное, ничего не бойся, это пройдет, пройдет, и снова будешь здоровый. А я и не боюсь, это они боятся. Переворачиваюсь постепенно, медленно, сначала одну ногу... долго-долго тяну... потом другую... Мне давали лекарство, гадость жгучую, большими ложками порошок, и скоро у меня заболел живот.

Я лежал два месяца, не мог встать, а потом стало лучше, но папа сказал - ни в коем случае не вставать, сердце задето.

Вот тогда я заплакал, потому что могу встать, и нельзя.

Бабка села на кровать, все уйдите. Положила руку на лоб, говорит, мальчик должен терпеть, вырастешь сильным, не будешь бояться. Нельзя бояться. Все пройдет, надо уметь терпеть боль, страх, все. Терпи, Алик, ты вырастешь как надо.

Она не утешала меня, и мне спокойно стало, я говорю:

Да ладно... ничего...

Она засмеялась, опять да ладно... вылитый отец.

Я лежал до лета, а потом понемногу встал, только не бегай, мама говорит. Сейчас поедem на дачу, там совсем поправишься, только бегать и кататься на велосипеде пока нельзя. У меня нет велосипеда, так что не страшно, а бегать как-нибудь смогу, когда никто не видит. Я пробовал на улице, пробежал немного, вдруг стало трудно дышать, сердце заколотилось, я остановился.

Так и будет все время?

Нет, нет, папа говорит, обязательно выздоровеешь, но пока будь осторожен, не навреди себе.

Он уже навредил, бабка говорит, сколько учила, чтобы ноги сухие, теплые, а он на площадке этой дурацкой заигрался.

Не дурацкой, там хорошо играть, я снежки лепил, бросал в дерево. А потом пришел мальчик, и мы с ним бросались. Тот самый, с которым подрались вначале. Он снова пришел, и не дрался. Я обрадовался, и про ноги забыл.

Что теперь говорить, мама говорит, мы все можем заиграться, зачем мальчика ругать. Он будет осторожней, правда, Алик?

Дача мадам Киви

В начале мая поехали на дачу. Тетю, которая сдала нам две комнаты, зовут мадам Киви. Она пьет, сказала бабка, только глянула, ненадежно, Зина.

А что нам с ней, детей крестить, папа говорит.

Мама с бабкой как засмеются, нет, крестить не будем. А что смеются?

И мы переехали к мадам Киви, на электричке полчаса, лес сосновый и еловый, шишки да иголки, скользко ходить по ним. Ближе к осени будут маслята, папа говорит, мы с мамой до войны собирали здесь.

Там где собирали, до сих пор опасно, вдруг мины, мама говорит.

Мы недалеко будем гулять, ничего.

Мама вздохнула, теперь везде опасно.

Не преувеличивай. Поживем до осени и уедем, а мадам Киви буду платить каждый месяц, не сразу.

В большом саду белый домик, перед ним бассейн, только нет воды. Нам разрешили пользоваться кухней, электроплитки две, сама мадам все время в своих комнатах, у нее много места осталось, и еще на втором этаже. Однажды я заглянул к ней, дверь была открыта, она сидит на кровати не одетая, увидела меня, говорит, а, докторский сынок... не смотри на меня, не смотри... и пальцем погрозила. Когда-то она была красавицей, мама говорит, известной певицей, потом война, она спилась, сын у нее исчез, его в армию хотят взять, найти не могут.

Прячется в лесу, бабка говорит, плохо кончит, лучше бы явился. Эта власть надолго, а они, дураки, не верят. Немцы им были милей.

Ну, мам... говорит ей мама, вовсе не всем.

Знаю я, моего сына кто выдал? Он по дурости своей остался с семьей, думал, если Марта эстонка, его пожалеют.

Ничего не думал, он не успел, ты же знаешь, а потом прятался около дома, Марта его тайком кормила.

Может, сама и выдала, кто знает. Видеть ее не могу.

Нет, нет, говорит папа, Марта не могла, там же его дети.

У папы теперь отпуск, мы все в саду сидим.

Наивные вы, глупые. Я и не то видела, дети родителей расстреливали, потому что люди сволочи, только о себе, о себе...

Бабка заплакала, она давно не плакала, не кашляла, а зимой у нее был сильный кашель, папа говорит, сердце плохо тянет.

А что оно тянет?

Сердце насос, кровь разносит по телу, с кислородом, легкие его из воздуха берут. Если сердце плохо работает, кислорода не хватит всем, приходится часто дышать, одышка.

Я вспомнил, как тяжело дышал раньше, теперь прошло.

У тебя еще не совсем прошло, надо осторожней быть.

И на лыжах нельзя?

Потерпи годик, будешь всю жизнь здоров. Мама выздоровела, потому что лечилась.

Я ничего не сказал, мама не совсем выздоровела.

Папа посмотрел на меня, говорит, ничего, дача нам всем поможет.

Борис и Муся

В середине лета к мадам Киви вселился Борис Аркадьевич, майор, он работает в милиции, у него жена Муся, толстая, нарядная и веселая, детей у них нет. Они по вечерам играют в карты, а мы в лото. Он быстро с нами познакомился, все время хохочет, и Муся тоже, они меня угощают печеньем. Но он бывает дома редко, а Муся спит целый день, вечером выходит в сад, сидит на скамейке и зевает. Мама говорит, она самка, это ужас, а Борис дурак с усами. Папа смеется, кстати, Борис тоже еврей.

Открыл тайну, бабка говорит, я сразу узнала, черновцы какие-нибудь. Рад безумно, что в нормальную страну попал.

Фанни Львовна, говорит папа, не забывайте, у нас теперь одна страна.

Она ничего не ответила, а мне - собирайся, пойдем за малиной, и мы с ней ушли.

Надо пройти несколько домиков, выходишь прямо в лес, но это еще не лес, а заброшенные сады, здесь раньше жили люди, а теперь нет никого, только сосны шумят и шевелятся кусты.

Страшно, спрашивает бабка.

А чего бояться?

Как хорошо, когда не знаешь, чего бояться, она говорит, и засмеялась. Я тоже не боюсь, жизнь прошла, чего бояться. Старый да молодой, оба дураки.

Мы шли, иногда попадались почти целые домики, другие совсем разбиты, загородки упали, это дачи людей, которые не вернулись после войны. Малина везде разрослась, мы собирали, нет, это она собирала, а я ел. Бабка собирает и рассказывает мне про довоенную жизнь, как здесь гуляла с сыновьями.

У нас тоже была дача, только подальше отсюда. Там теперь голо.

И с мамой гуляли?

Зина самостоятельной была, жила отдельно, с мужем.

С папой?

У нее был первый муж, Борис.

А где он?

Неизвестно, наверное, в Сибири. Но они еще до войны развелись.

Почему?

Она засмеялась, много хочешь знать, милый, сама не знаю. Он скучный был, хотя богатый, у него были свои дома, они и сейчас стоят вдоль моря. А сам Борис пропал, жив или нет, никто не знает.

Зачем одному столько домов?

Чем больше, тем лучше. Наследство от семьи. Много людей копило, потом умерли, ему все досталось. В жизни редко дают, чаще отнимают, а если много, то что-то, может, останется. Так многие думают. Дураки.

А у него осталось?

О, она засмеялась, специалисты отнимали, чисто метут.

А если он вернется, отдадут ему дома?

Как же, догонят и еще дадут. Он и не спросит, кто же теперь отдаст обратно... Надо забыть, жить дальше, какие еще дома...

Она быстро собирала, я быстро ел, и наелся, ягод много. Потом мы пошли домой, а вечером сидели вместе с Борисом и Мусей на балкончике у них перед комнатой, там деревянный стол из

досок, и стулья из соломы. Пили чай с печеньем. Потом Борис говорит, я спать, вставать рано. И мы ушли.

Только легли, потушили свет, вдруг грохот, и сразу крик. Муся, неси наган, Борис кричит.

Мама бежит к окну, папа не встал, ну, что там?

Через забор кто-то лезет!..

Туда или сюда, спрашивает папа, он хочет спать.

Убегает... убежал.

Утром Бориса уже не было, Муся говорит, только легли, в саду шум... смотрят, тень у забора шевелится. Там тазик остался, бабка стирала белье. Кто-то перелез к нам, спрыгнул с забора, и ногой в таз попал. Борис вскочил, выбежал на веранду, где мы вечером чай пили, но опоздал. Он говорит, застрелил бы мерзавца, наверное, сын хозяйки прячется в лесу, ночью за едой приходит. А Киви говорит - ничего не знаю. Язык не ворочается у артистки, с утра до ночи ликер, ликер...

Теперь облава.

Только никого не нашли.

Дядя Юлик

В июле стало жарко, мадам Киви наполнила бассейн через шланг, теперь в нем воды по колено. Но мне запретили даже болтать ногами в воде, еще простудишься, тебе нельзя. Я хотел в воду, а потом расхотел, лазил по кустам у забора, там тоже растет малина, и начал даже бегать, но чтобы бабка не видела, она смотрела за мной из окна.

Подожди, потом все сможешь, дай сердцу отдохнуть, папа говорит.

Ладно уж, пусть отдыхает.

Я залезал на толстую липу у самого забора, сидел, ждал папу с работы, у него отпуск кончился. Однажды вижу, он появился в конце улицы, и не один, с ним какой-то высокий дядя. Я быстро слез, даже чуть-чуть порвал штаны, побежал к калитке, выбежал им навстречу. Они еще далеко были, я побежал. И вдруг упал, нога подвернулась, что ли. И сердце забилось быстро, даже больно билось. Но я тут же вскочил, мне говорила бабка, если ноги целы, не лежи. Папа с дядей даже не успели заметить, разговаривали, а у меня колено стало белым, проехался по земле, а крови нет. Я ждал, что будет кровь, все-таки ничего себе приложился, но ни капельки красной не вижу! Испугался, бабка все время говорит, ты малокровный... Где же моя кровь? И все-таки похромал им навстречу, а сам поглядываю на колено. Смотрю, появились мелкие-мелкие капли, растут... их так много, что кровь потекла вниз по ноге.

Папа, наконец, увидел меня, что с тобой, откуда кровь?

Посмотрел - ничего страшного, сейчас залечим. Но крови-то сколько, ты не малокровный больше, вот что значит дача, свежий воздух.

Дядя наклонился, говорит, здравствуй младший Миркин, я твой дядя Юлик.

Мама уже навстречу - Юлик вернулся, заплакала.

Что ты, Зиновья, он говорит, я смотрю, он сам плачет, только тихо, слезы по щекам бегут.

Он высокий, худой, очень загорелый. Мы пришли, бабки не было, она ушла за продуктами, с другой стороны дачи тоже дорога есть. Потом пришла, тоже плакала, говорит, я бы повесила этого сволоча рядом с Гитлером.

Фанни Львовна, нельзя вслух, хотя я не стал бы вам мешать. Юлик засмеялся, у него голос хриплый, густой.

Мы обедали, папа спрашивает, Таня где.

Приедет осенью, вот устройсь.

Потом они с папой и мамой разговаривали. Юлик вытащил бутылку из куртки, папа замахал руками, тебе нельзя!

Мне все можно, я теперь почти свободный.

Почему почти?

Он улыбнулся, потом скажу. Помнишь, мы с тобой бога ругали?

Папа говорит, поэтому я стал врачом, верю, когда вижу и знаю.

Как же ты в призрака веришь?

Какого призрака?
Который по Европе бродит.
Папа смеется, ты шутник, у нас мальчик растет, я с ума не сошел с ними спорить.
Потом я спросил у мамы, какой призрак, она засмеялась, раньше мы злые на богатых были, любили русских.
А теперь?
Теперь мы умней, никого не любим, больше узнали.
А что, что узнали?
Что попали в мясорубку.
Что ты мальчику голову морочишь, говорит бабка, какая мясорубка, ему жить и жить.
Так ничего и не понял.
Вечером Юлик уехал, ему нельзя оставаться, и даже приезжать запретили, а он все равно приехал. Он будет жить не очень далеко отсюда, там даже лучше, воздух здоровый и летом суше, чем у нас, потому что море далеко. Поселок в лесу.
Мама говорит, у него нездоровый вид.
Ему трудно помочь, папа сказал, он далеко зашел, а слушать никого не хочет. Согревался напитками, говорит. Хоть бы Таня его встряхнула...
Я стал думать, что с Юликом случилось, ничего не придумал, и заснул.

На даче в гостях

Мы познакомились на даче. Толстенькая женщина с добрыми глазами. Учительница музыки. Она живет с мамой, похожей на нее, только толще и старше. Они говорят басом, и у обеих усики над верхней губой. У нас временное жилье — дача, а они здесь постоянно, в деревянном двухэтажном доме на высоком втором этаже. Мне понравилось у них. Уютно и просторно, и видно, что не каждый день убирают. Везде книги и журналы, валяются, где попало, даже на полу. Они живут не одни, но Карлуши не было дома, он гулял. Учительницу зовут Ангелина. «Сейчас будем слушать музыку» — она взяла легкими пальцами очень толстую пластинку, темную, как будто из железа, и подошла к проигрывателю. Сейчас будет дырочкой искать штырек... Я знал, что это трудно, но она сразу надела пластинку, и мы стали слушать. Голос пробивался через треск.

Что подделаешь, старая-престарая... Она вздохнула, — да и видеть его надо было, не просто слушать.

Голос извивался, шутил, смеялся над нами, а потом ударил короткими словами — и конец.

У него руки длинные, белые и гибкие, как лебеди, и он все-все руками мог изобразить. Впрочем, почему мог... Он жив, и поет еще.

Где тела сплете-е-нные колыхал джаз-банд... выговаривал голос, а потом вдруг: И души вашей нищей убо-о-жество было так нелегко — разгадать... Вы ухо-о-дите, ваше — ничтожество... Полукровка. Ошибка опять.

Вдруг я услышал, кто-то царапает дверь. «Это Карлуша» — Ангелина побежала открывать. Вошел небольшой пес, низкий и длинный как такса, но с мордой и ушами от других собак.

Это наш Дон Карлос. Карлуша, познакомься с гостями.

Карлуша выбрал меня, подошел и протянул лапу. Она теплая и тяжелая. На шее у него две складки кожи, свисают и болтаются, когда он ходит. «Карлуше семнадцать лет...» Ого, а мне только семь будет. Карлуша лег и стал слушать музыку. Розовый живот поднимается и опускается, по нему ползают блохи.

Карлос, говорит старушка, что ты демонстрируешь свои достоинства... Карлуша вздохнул, и пошел на кухню. Слышно, как он чавкает. «Он курицу любит, а другого мяса не ест. Он у нас самый старый.»

Старушка все время улыбается, у нее глаза живей, чем у дочери. Наверное, потому что родила ребеночка, а дочь не смогла, я подумал, а потом спросил у мамы.

Они известные люди были. У них родственник президент.

Президент в Америке.

В Эстонии до войны тоже был президент.

А кто это пел?

Вертинский, был такой певец. Говорят, живой еще, но далеко живет.

Потом мы часто ходили к ним. «Иди, погуляй с Карлушей». Я надеваю ошейник на теплую шею, а поводок несущу отдельно. Карлуша идет впереди, оглядывается, как старший брат, который все знает лучше меня, показывает дорогу. Мы идем мимо сосен, по гладким шелковым иголкам, пересекаем муравьиные дорожки, и нигде не встречаем людей. И я представляю себе, что Робинзон, живу на своем острове, а со мной верный друг. Карлуша сам знает, когда хватит гулять, ведет меня домой.

Приходим, на середину комнаты выдвинут стол с белой длинной скатертью, она блестит, переливается — старинная. Мы пьем чай и едим пирог. Он подгорел, зато с малиновым вареньем. Ангелина подкладывает мне все новые куски, подливает чай, и вздыхает. Потом мы снова слушаем голос из старой жизни, прощаемся. «Карлуша, проводим гостей». Они идут до большой дороги, отсюда видна наша дача. У дома я оборачиваюсь — женщины с собакой нет, уже рано темнеет, это август, становится прохладно.

Скоро домой, тебе в школу пора.

В больницу к папе

Никого тогда не нашли, на даче у мадам Киви, а потом, это было уже зимой, пришел папа с работы, слушали радио. Сына мадам Киви поймали, он был бандит, нельзя от армии убежать. Прятался много лет, сначала от немцев в лес убежал, а потом от наших тоже.

Это ужасно, говорит мама, но пора им понять.

Двадцать пять лет дали, говорит папа, двадцать пять лет...

Никто больше ничего не сказал, ни мама, ни бабка, молча съели обед, и папа на работу ушел. А потом перестал приходить на обед, берет с собой, или я приношу ему еду, когда он дежурит в воскресенье. Это на дороге в школу, не доходя, — большой дом из серых камней, нужно постучать в дверь или позвонить. Мне открывают, к доктору Миркину сын? и я прохожу по коридору, по каменному полу, мимо больших дверей, их много, это палаты с больными, слышу оттуда разговоры, смех, или зовут сестру по-эстонски — ыде, ыде...

Я иду дальше, в конце коридора кабинет дежурного врача, там сидит папа, дремлет или читает.

Сынок, он улыбается мне, вот хорошо, я уже проголодался, как у тебя дела.

Я ставлю на стол сумку, там кастрюлька с супом, еще горячим, потому что идти недолго, и кастрюлька со вторым, мясо с картошкой например, или тушеные овощи, он их любит. Он ест суп, я смотрю, у него волосы спереди редкие, по щекам глубокие морщины, виски седые. Но он не старый, мама говорит, это война устроила нам жизнь.

Так как твои школьные дела?

Я там учусь, вот и все дела.

Про школу

Рассказывать не интересно, в школе никаких дел, учиться нравится, но ходить туда не люблю, много шума, холод постоянный, ребята почти все злые или глупые. И все время боишься, вдруг спросят, а я не знаю...

И каждый день так, хотя я учусь хорошо и отлично, все равно неуютно там.

Так у тебя нет друзей, совсем?

Ты же знаешь, Эдик есть. Еще Севка. Но они тоже мало гуляют. У нас места мало, я к ним иногда хожу.

Нормально в школе, я всегда говорю, мама вздыхает, все у него нормально, туда бежит, и обратно скорей.

Пусть мальчик дома живет, среди своих, кто его любит, бабка говорит. Время ненадежное, лучше, если к семье привязан, кругом чужие люди, успеет нахлебаться.

Хотя бы с этим Голубевым еще подружился, он ведь еврей, Алик, да?

Голубев украинец.

Это он так говорит, удивляется мама. Замечательный мальчик, мать еврейка, отец еврей, а он украинец.

У Голубева отец не еврей, а военный прокурор, смеется папа.
Никуда не денешься, бабка говорит, мальчик должен не бояться своей нации.
Голубеву легче будет жить, папа говорит, пусть украинец, я не против.
Но ты еврей почему-то... мама не согласна.
У меня украинцев нет в роду.
Все шутишь, а я ненавижу этих червей.
Да ладно тебе... папа говорит. Но пока евреев не любят, скрываться некрасиво. А вообще, какой я еврей, посуди, что во мне еврейского? Ну, да... - он почему-то засмеялся, и это все.
Так нельзя думать, говорит Фанни Львовна, нужно гордиться, уважать.
Чем тут гордиться, я заработал или заслужил?
И они начинают спорить, а мне скучно, пусть я еврей, пусть меня не любят, мне интересней книжки, в них разные люди, и хорошие и плохие.
Наконец, ты полюбил читать, говорит мама.
Я всегда любил, просто медленно читаю, строчку прочту и все представляю себе, представляю...
Потом очнусь, сижу перед книгой, ты что заснул, бабка говорит, это он так читает, боже мой.
А что тебе задали, какие уроки?
Сначала они спрашивали, потом перестали, я хорошо учусь. Мама говорит, я не вмешиваюсь, все в порядке. Зачем в школу ходить, эти собрания, два-три симпатичных лица, от остальных тошнит.
А мне своих собраний хватает, папа говорит, везде одинаково, давай то, надо это... что им скажут в газете, то и надо.
Иногда в гостях меня спрашивают, какой был твой первый день в школе, почему-то всем интересно. Ничего интересного. Никакой день. Но я его помню все равно, хотя два года прошло.
Дождик шел такой мелкий, будто туман летает, воздух сырой, вода везде.
Наш гнилой климат, папа говорит.
Почему же мы не остались к Чувашии, где жили?
Почему, почему... кому мы там нужны, мы чужие, бабка говорит.
А здесь нужны?
Она засмеялась, боже мой, этот мальчик уморит вопросами. Не мы нужны, а нам нужно. Нам нужно там, где родились.
Мам, не забивай мальчику голову, мама говорит. Здесь наш дом, вот и все.
В тот день нас заставляли фотографироваться во дворе у стенки серой. Вставать на ящик, чтобы повыше. Я получился очень серьезный, только уши торчат. Раньше я не видел, что у меня такие уши.
Ладно, хотите знать, расскажу как следует про первый день.

Такой первый день

Завтра пойдем, говорит мама, совсем замотались с этими санаториями, болезнями, дачами, а детей учить надо всегда. Посмотрим еще, кто учительница.
Мама недоверчивая, а папа говорит, все равно, главное, школа русская, а не эстонская, нам русский язык важнее, на нем вся страна говорит. И мы всю жизнь на русском говорим.
Какая еще страна, говорит бабка, мы до войны тихо спокойно жили, своя республика.
Что ты, мам, говорит мама, вспомни, как эстонцы любили нас, твоего сына кто выдал немцам?
У каждого народа свои предатели... Папа не любит споры.
Ехали на трамвае, сначала вдоль развалин, домики разбомбили, когда освобождали город, папа говорит, без бомбежки не могли освободить. А потом так и не убрали мусор, зато здесь будет новый проспект. Немного проехали, и вылезли. Через дорогу школа, трехэтажный кирпичный дом. Зачем сюда, я спросил, рядом с нами тоже школа, пятиэтажная, за ней большой двор и даже сад. Мама говорит, та школа эстонская, нам не нужно. Потом оказалось, ехали по кругу, прямая дорога двадцать минут, я теперь хожу пешком.
Мы перешли дорогу, дверь заколочена. Мама говорит, идиотизм, все парадные теперь такие, это что, обязательно при новой власти? Папы не было, а то бы он ответил, нечего ругать власть, она нас спасла от немцев, помолчи.

Мы нашли калитку за домом, вошли в небольшой дворик, а там не продвинуться, такая толпа. У двери стоит большая тетка, спрашивает вы кто. Мама сказала, Алик Миркин, нам показали угол, в котором собирается наш класс. Подошли, вышла из дома тетя, высокая, тонкая, в шляпке круглой, у нее большое лицо, бледное, очки толстые, увеличивают глаза. Мама говорит, она дальнозоркая, это лучше, чем близорукая учительница.

А потом говорит - боже, так это Анна... удивилась и замолчала.

Анна подошла ко всем, говорит я Анна Юрьевна, классный руководитель, буду вести все уроки до пятого класса, мы подружмся. Она улыбнулась, а потом увидела маму и не обрадовалась.

Это мой сын, Анна, говорит мама. Анна положила мне руку на плечо, говорит - хорошо, с ним мы точно подружмся. Пойдемте в класс, и мы все пошли за ней.

В классе надо снимать верхнюю одежду, почти у всех плащи или пальто, а раздевалка не работает, в ней нет света и могут украсть. Поэтому родители сняли одежду со своих детей, и стали с ней вдоль стен, сами одетые. Стало похоже на вокзал, зато тепло. Детей больше чем столов, узких, со скамейкой для двоих.

Это парты, мама говорит, садись быстрее вперед, сзади будет сброд, я уже вижу.

Я сел поближе к двери на третий ряд, рядом женщина одна, она маме говорит, здравствуй, Зиночка, и придвигает ко мне своего мальчика, это мой Эдик. Я их видел не раз, зачем она говорит... Это тетя Соня, мамина подруга, они через двор от нас живут.

Там были одни мальчишки. Папа удивлялся, зачем дети раздельно? Бабка засмеялась, успеется, пусть учатся без отвлекания. Папа тоже засмеялся, и мама, это вечером до первого дня было.

Парт всем не хватило, сзади поставили стулья в два ряда, а родители все время стояли у стен, все ждали, что скажет Анна Юрьевна.

Будем знакомиться, она говорит, я увидел, она добрая, улыбается.

Пришла еще одна женщина, нас снова начали переписывать, мама мне подсказывала фамилию, зачем, я давно знаю, что Алик Миркин, так и сказал. В классе оказалось сорок восемь человек, мама говорит, страшно много, Анна не справится.

Ты знаешь ее?

Старая история, еще до войны.

Ты представляешь, она говорит вечером папе, у них Анна учительницей будет.

Какая Анна?

Не притворяйся, та самая.

Папа помолчал, и говорит, ну и что, старая история, она все равно хороший учитель, Алику повезло.

А бабка ничего не сказала, бросила ложку и ушла на кухню, странные люди, она говорит, как можно это забыть.

Может, это неправда про нее, папа говорит.

И ты ее защищаешь!

Да ладно... никто точно не знает.

Так я ничего и не узнал.

Тебе рано такие вещи знать, мама говорит, главное, учись хорошо, старайся. А мальчик рядом с тобой, Эдик, сын моей подруги Сони, до войны мы дружили, а теперь знакомые.

Почему?

Ты почему-то любопытный, мы разошлись как в море корабли. Ей не нужны были бедные подруги, как мы с Полиной.

А Полина где?

Полина не вернется никогда, мама говорит, и отвернулась.

Многие вещи для меня секрет. Некоторые я потом узнаю, подслушиваю разговоры, а другие остаются непонятными.

Не спеши все узнать, папа говорит, лучше книжки читай.

Почему не спеши?

В жизни много печального, вот война была, а тебе жить и жить.

Значит, мне печального не надо?

Успеешь еще, а пока радуйся, что не большой.

Папа смеется, голову вздернул, мама говорит, у него раньше волосы были непослушные. А теперь гладкие и редкие, он их чем-то мажет пахучим, чтоб не выпадали. Мама смеется, еще не придумали твои врачи такого средства.

Да ладно тебе... - он говорит, потери похуже случаются, да?

Потом мама с Соней снова подружились, а я с Эдиком. У Сони старый муж давно исчез, а недавно новый появился. Его зовут Игорь Абрамович, мама говорит, он симпатичный человек. Правда, без волос, и заикается, и новых детей у них нет.

Они недавно поженились, потому нет?

Детей? Соня старше меня, у них детей быть не может. Дети рождаются у молодых от дурасти.

Так не шути, говорит бабка, он не поймет.

Ничего кроме правды, разве не от дурасти они?

Соня и Эдик живут на другой улице, но между нами быстрый путь по дворам, через две калитки и дырку в заборе. Попадаешь прямо к ним во дворик, там тихо и закрыто со всех сторон. Во дворе толстое дерево, ветки шевелятся, а через другой дом проход на улицу Якобсони, через круглую арку, низкую и длинную. Якобсони тоже вся в круглых камнях, как наша улица Тобиасе, и по ней можно быстро дойти до моря.

Это дерево стояло, когда я была маленькой, мама говорит.

Дерево смотрит Эдику в окно. Они на первом этаже, но окна высоко, рукой не достать. Квартира огромная, какходишь, сразу напротив большая кухня, направо коридорчик, из него двери в три комнаты, прямо, направо и налево, а за большой комнатой, что направо, есть еще крошечная, с окном на это дерево. В квартире большая семья, Соня, ее сестра, она медсестра в больнице, старенькая бабушка, очень готовит вкусно, не то, что наша бабка, ешьте, что подано - готовить не любит. Тетя Соня работает в шляпной мастерской в центре города, шьет шляпки, потом натягивает их на болваны, деревянные головы, чтобы шляпка имела форму.

Я шляпки эти никогда не любила, говорит мама, но раньше многие носили.

А я любила еще как, говорит бабка, где мои сорок лет...

Мам, говорит мама, сколько можно, время не вернется, ты знаешь.

Эдик в школе мой единственный друг.

Понемногу класс начал утрясаться, как мама говорит, дети уходят, их родители военные, многие уезжают в Россию обратно. Теперь нам хватает парт, даже свободные места появились. И уже можно всех запомнить по именам, мы привыкли, начали учиться.

Вот и про первый день рассказал.

Разные вещи

Я уже привык ходить в школу, хорошо пишу слова, а читать я до школы умел, только медленно читал. Я и сейчас медленно, бабка говорит, быстро не можешь... - могу, но не получается. Представляю себе, как я там, что говорю людям в книге, и задерживаюсь. Я теперь читаю разные книги, только таких, как первые две, еще не нашел. Есть интересные, но все равно быстро забываются. Теперь у меня тетрадка появилась, особенная, только что писать в нее, не знаю.

Это было зимой, я рано пришел из школы, поел. Уроки сделал, и делать больше нечего, идти куда не хочется. Пошел бы к Эдику, но рановато, тетя Соня строгая, Эдик, уроки сделаны? ах, не сделаны... А Эдик с уроками не спешит, у него всегда интересные дела находятся.

И я сидел, смотрел в окно, а бабка копалась в сундуке, который у нее под кроватью.

Смотри, она говорит, я и забыла про нее. У меня для тебя подарок.

Ого, такой у меня в жизни не было - толстенная тетрадка в кожаном переплете, или не кожа, но все равно вещь для взрослого. В школе нельзя в толстых писать, только дома.

Бери, она у меня без дела, а тебе пригодится. Вот что сделай, советую, - запиши все, что помнишь о себе с начала жизни.

Зачем, я и так помню. Не всё, но с тех пор как вернулись, почти всё. А раньше как сны, одни обрывки. Не интересно о себе писать. Но не стал спорить, спасибо, красивый подарок. Принял вежливо, как она любит. Хорошая тетрадка, только писать не хочется, и нечего писать. Спрячу,

пусть полежит. У меня есть ящик в ночной тумбочке, положу на дно. Там у меня фонарик лежит. Папа подарил на Новый год. Я раньше думал, этот праздник не настоящий, кто может знать, когда год начинается. Оказалось, не такой уж плохой день, а фонарик вообще особенный, только теперь немного сломан.

Обычные фонарики из жести - плоская коробочка, легкая, в ней тонкое стеклышко, и все. И батарейки нужно менять, а попробуй их найди, папа говорит, не получается, раз в год до магазинов доберусь, а там - закрыто и закрыто... А этот фонарик - жучок, толстенький и тяжелый, с выпуклым блестящим глазом. Возьмешь его, и сразу ясно, что у него много всего внутри. И батареек ему не надо. Сожмешь в руке - в нем просыпается тихий ворчащий звук. Сжимаешь снова и снова, ворчание переходит в непрерывное жужжание, блестящий глаз краснеет и разгорается - жучок светит. Он светит, пока нажимаешь на него, он приятно пахнет маслом, когда разогреется от своего жужжания. Сначала пальцы устают, но быстро привыкают. Никогда не боишься, что он погаснет. Он сам вырабатывает электричество, как настоящая электростанция, только там вода или пар крутят колеса, а здесь колесики кручу я, когда сжимаю жучок в руке.

Я ходил с ним везде, он несколько раз падал у меня, но не разбился, только кусочки отлетали от черных боков. Я светил на улицах, и даже в подвале, и мне не было с ним страшно. Как-то мы поздно возвращались от Сони и Эдика, шли через дворы, там темно и страшно. Если бы не жучок, то, наверное, запутались бы в этих заборах.

А потом он перестал жужжать, папа говорит, шестеренка сломалась, а запасных нет. Но я не могу его выбросить, и он лежит, вдруг починим, надеяться всегда надо, папа говорит.

Я под него тетрадку положу, может, она все-таки пригодится.

Иногда вытаскиваю ее, открываю, смотрю на первый лист.

Думаешь, слова сами появятся... бабка смеется.

Я не думаю, мне кажется, там на бумаге что-то шевелится, как будто кто-то незаметный ходит.

Надо проверить мальчику глаза, бабка всегда знает, что надо.

Надо его рыбьим жиром кормить, и срочно, считает папа, это у него червячки и букашки плавают в глазу от нехватки витамина.

Ничего не плавают, я смотрю, и мне кажется, вижу остров, и белый-белый песок, он от солнца светится.

А рыбий жир все равно придется пить. Закусывай хлебом с солью, мама говорит. Не помогает хлебом, я пробовал, меня от жира этого тошнит. Бабка пошла к Циле и принесла кулек, бумага розовая, это клюква, вот чем закусывай, никакого вкуса во рту не останется. Цилечка знает, как надо, жаль своих детей нет.

Я попробовал клюкву, очень кислая она, но, правда, после нее никакого запаха, и я пил рыбий жир каждый день, целую бутылку выпил.

Ну, как, спрашивает папа, кто у тебя бегаёт?

Никто, я сказал ему, чтобы порадовать. И все равно песок, все равно берег, а я Робинзон на том острове.

Но что в тетрадку писать, так и не придумал.

Давай, хоть назову ее... как?

Вспомнил, у меня же книжка хорошая есть, называется ЧТО Я ВИДЕЛ. Я давно уже другие книги читаю, для взрослых детей, но эту помню.

Назову так свою тетрадь.

Написал на первой странице большими буквами - ЧТО Я ВИДЕЛ.

Но утром случилась беда. Я завтракал, а тетрадка лежала рядом.

Бабка всегда говорит, неряха, книги и тетради подальше от еды.

А у меня пролился чай, попал на тетрадку, и первое слово на обложке начало растекаться. Я испугался, наклонил тетрадь, чтобы чай стекал в другую сторону, остальные слова остались. А слово ЧТО исчезло, только слабое пятно.

Смотрю, на тетрадке два слова:

Я ВИДЕЛ.

Мне стало жаль тетрадь, ничего в ней не записано еще, а название испортил.

Я спрятал ее среди учебников, некрасивая стала.

.....

Теперь у меня две замечательные вещи, жучок и тетрадка, правда, они спрятаны до лучших времен, как бабка говорит. А у Эдика все вещи работают и пользу приносят, учись у своего друга, мама говорит, он умеет с вещами обращаться. Знаю, знаю... и вообще, у него интересно, я люблю к нему ходить. Мы в школу ходим вместе, но там трудно разговаривать, на переменах шумно, а на уроках другие мысли скачут. Другое дело, у него дома. У нас тоже можно поговорить, но места мало, а у него комната своя. Он живет в своей комнате в большой квартире. Я звоню в дверь, он выходит из темноты, в передней вечно лампочка перегоревшая, высокие потолки, нет лестницы, и вкрутить некому, в доме мужчины нет.

Недавно у Эдика появился отец Игорь Абрамович, не настоящий папа, но все-таки мужчина в доме, так мама говорит. Но у него нет лестницы, а если бы даже нашлась, он так высоко не взобрался бы. И они все равно ждут электрика, он приходит раз в месяц осмотреть счетчик у двери, у него складная лесенка с собой, заодно лампочку вкрутит. Но она на следующий день перегорает, и они снова месяц в темноте раздеваются и одеваются.

Эдик выходит ко мне, у него бледное лицо... у него всегда бледное лицо, - мама говорит, - Соня, проверь сына, а Соня говорит, да вроде проверено, но все равно, наверное, глисты у него.

Так есть глисты или нет?

Никто не знает, вздыхает Соня, я не видела у него глистов.

Так они разговаривают каждый раз при встрече, а Эдик живет спокойно, не думает о своем лице. Мне нравится, что он бледный, как настоящий артист, мама говорит, он красивый мальчик, только нездешней красотой.

Лучше бы незаметней был, слишком восточный тип, говорит папа, на улице оглядываться будут.

Что оглядываться, может быть похуже, бабка у нас пессимист. Это папа говорит, вы, Фанни Львовна, настоящий пессимист. Я вас понимаю, но жизнь продолжается.

Ничего не продолжается, окончена для меня.

И разговор прекращается, потому что мама дергает папу за руку, или толкает в спину, или наступает на ногу.

Эдик выходит мне навстречу - "а, это ты..." Как будто не знал, что я приду. И мы идем к нему. Комнатка крошечная, но есть дверь, так что настоящее свое место. У стенки диван, на котором он спит, у окна стол, заваленный учебниками, один стул - и больше ничего не помещается: чтобы разговаривать, надо сесть. Он садится на диван, я на стул. К нам льется свет со двора. За окном немного серой земли, и растет большой каштан с широкими листьями. Остальная часть двора покрыта круглыми камнями, как на улице, так что на велосипеде не покатаешься. Но у нас нет велосипедов, и вообще, мало у кого они есть. Зато у Эдика в комнате две замечательные вещи.

На подоконнике стоит телевизор, большой ящик, в нем экран как почтовая открытка, на экране увеличительное стекло, Эдик говорит, это линза с водой, а на линзе наклеена розовая пленка - для цвета. Вечером на диване и стуле сидит вся семья, его мама, тетка, бабушка и теперь Игорь Абрамович еще, а иногда мы приходим с мамой, и еще бывают соседи со второго этажа, у них девочка, но она маленькая, в школу еще не ходит, мы с ней не разговариваем. Если приходят соседи, дверь оставляют открытой, и они сидят в большой комнате у порога, смотрят сюда, все видно. Эдик терпит по вечерам, что дверь открыта и куча народу, зато днем с телевизором наедине. Даже когда телевизор молчит, и то приятно посидеть рядом с ним. Хорошо, подоконники широкие, Эдик говорит, иначе мне телевизор не отдали бы... Дом старый, стены такие толстые, что до форточки Эдик достает палкой или влезает на подоконник с ногами. Если бы не подоконник, телевизор поставить было бы некуда. Это первая его замечательная вещь.

Вторая вещь висит на стене на длинном черном ремешке. Немецкий фотоаппарат "Робот", довоенный еще. Он маленький, квадратный и очень тяжелый, у него широкий объектив вдвигается в корпус, а когда нужно - высовывается, смотрит. Вводишь затвор, и тут же внутри "Робота" что-то ворчит и шевелится - это он перематывает пленку. Сам думает - не даст тебе ошибиться.

Мы говорим, телевизор молчит, слушает, "Робот" висит на стене - ждет...

Наконец, Эдик предлагает:
Пойдем, что ли, пощелкаем?
Я как бы нехотя соглашаюсь:
А что, пойдем.
Он берет "Робот" - тяжелый, в теплой старой коже, мы спускаемся во двор, идем по круглым камням к выходу на улицу.

К морю?
Конечно, к морю. Там теперь у воды широкая аллея, окопы давно засыпаны, заросли травой, посажены деревья, стоят скамейки, здесь никого, пахнет тухлыми водорослями. Эдик нажмет на трескучую кнопочку, застежка отскочит, и "Робот" посмотрит на нас черным глазом...

Потом, в темной ванной комнате, мы при красном фонаре следим, как на бумаге темнеет, темнеет... и вдруг появляется море, деревья, и мы с ним, правда, поодиночке, кто-то же должен снимать.

Наш директор

Не люблю школу, но куда не денешься, нужно учиться, учиться, и еще раз учиться.
Если б можно было учиться, а в школу не ходить...
Бабка смеется, раньше можно было, и то не всем, нужно было богатым быть.
А в школе не только учатся, там много всяких дел и событий. Почти все противные, но бывают и ничего.

Самый главный человек в школе - наш директор Мрачковский Михал Михалыч, называют его Костыль. Потому что хромает на правую ногу, ранен на войне, и нога не гнется в коленке. Зато его слышно - когда идет, ни с кем не спутаешь. У нас есть учительница Полина, та подкрадывается незаметно, появляется всегда в неподходящий момент - «здра-а-вствуйте...», и улыбается, но ей никто не улыбается, она никому не нравится. А Костыль не улыбается никогда. Даже представить невозможно, что он был солдатом, и ему приказывали. А он может приказывать всем, голос у него хриплый, но всегда слышно, что говорит. Он ходит в светлом костюме, у него светлое большое лицо, серые глаза и очень большие белые руки. Как услышим стук его ноги, сразу стихаем. Он появляется из-за угла - сначала нога, потом большой белый нос, на такой высоте, что страшно становится... потом он весь, огромный, белый и чистый, вечно моется, наверное... Что за шум? Сразу находит, кто главный озорник, кладет руку на плечо или берет за шиворот, долго смотрит сверху, как на клопа, куда не ведет, отпустит - «после уроков в кабинет, ко мне!»

В этом году он рассказывает нам про древний мир. Он никогда не сидит, когда говорит, ходит и ходит, далеко выбрасывает вперед больную ногу. Он любит говорить про войны, их столько, что ему на каждый день хватило бы, но уроков истории два в неделю.

Они шли лавиной, все сметая на своем пути... - глаза у него разгораются, он ходит все быстрее, руки за спину... Мы сидим с Эдиком как в клетке с тигром, сейчас он схватит наши парты и выкинет в коридор вместе с нами, мы мешаем ему ходить и разговаривать.

И все замирают, слушают и боятся.

Но он постепенно успокаивается, хватает стул, ставит его ближе к окну, берет в руки журнал, он не любит сидеть за столом... и говорит:

Приступим к опросу...

Долго водит длинным пальцем по списку — и все замирают, только не меня, не меня...

Перед праздниками он обходит классы. Распахивается дверь, и еще никого. Потом нога, потом нос, и сам он весь, за ним Полина извивается, вползает, она завуч, повторяет все, что он говорит - «Михал Михалыч сказал, Михал Михалыч распорядился»... подлиза, носик острый, красный, постоянно пятна на лице, «как вы можете, какая у вас культура...»

Костыль останавливается посередине класса и говорит, он всегда одно и то же говорит:

Завтра праздник, демонстрация нашей силы. Кто не с нами, тот против нас.

Папа хмурится, мама молчит, бабка говорит, оденем мальчика потеплей.

Нельзя потеплей, у нас форма, галстук должен быть на виду.

Мы долго стоим на углу, потом перебежками до площади, там надо пройти красиво, махнуть своими вениками, как бабка говорит, прокричать нужные слова, и рысью домой.

А если справку, что болен... папа думает.

Какая справка, хочешь мальчику жизнь испортить, мама говорит.

А бабка молчит, берет большой чайник, ставит меня голым в ванну и поливает почти кипятком, а потом - пей чай, слава богу, теперь через год.

Нет, в мае.

В мае пусть, тепло.

Еще школьные дела

Когда мы приехали, не все было убрано после войны, чтобы пробраться к морю, мы с папой через окопы прыгали. Потом до самой школы почти каждое воскресенье ходили туда. Окопы зарыли, и все-таки некрасиво было, земля болеет после войны, папа говорит, даже трава не растет. А когда я пошел в школу, мы реже стали гулять, то мама болела, то бабка, потом я болел, а папа теперь часто дежурит в больнице по воскресным дням, я ношу ему еду. Он больше не начальник, слава богу, мама говорит. Дай бог, чтобы на этом остановилось, бабка думает. А сам папа об этом не думает, он рад, что теперь простой врач, делаю, чему учили, говорит.

В первом классе мы шли в школу через поле, при немцах люди сажали там картошку. Когда мы переехали в бабкину квартиру, на этом поле запретили сажать, но я видел, люди ходят и что-то ищут, бабка говорит, потихоньку сажают, там у краев кусты, и ботву не видно, если посадить.

Мы шли мимо этого огорода, не совсем заброшенного, потом вдоль высоких заборов, проходили через рынок, между длинными рядами, и долго не могли вырваться из рядов и прилавков, всегда опаздывали.

В школе каждый день что-нибудь новое - кто что принес. Некоторые ребята нас удивляли, вокруг них толпились все остальные. Один, по фамилии Наумов, всегда приносил жмых, кукурузный и подсолнечный, и раздавал кусками, а от самых больших позволял отгрызать, не выпуская из рук, и все прикладывались и отгрызали. «Ну, дай еще, дай...» - и он протягивает желтоватый кусок с черными семечными шелушками.

Другой, его звали Кротов, приносил заклепки - желтые и красные, черные и синие, маленькие, тоненькие, и большие - с толстыми короткими ножками и широкими шляпками. Он менял свои заклепки на фантики. Я всегда удивлялся, откуда у ребят красивые фантики, у нас дома не было таких конфет, бабка иногда приносила подушечки, на них не было бумажек. А заклепки ребята разбивали камнями. Некоторые, маленькие, взрывались сразу, а по другим надо бить долго и сильно, и каждый раз ждешь - вот сейчас она, вот сейчас...

Был еще мальчик, который приносил особенные переводные картинки, он говорил, немецкие, и продавал их за еду. У кого было, давали ему хлеб с колбасой собачья радость или с копченым сыром, эстонским, и он всегда был сыт и доволен.

Мальчик по фамилии Котельников часто приходил с новыми сумками, плоскими, с ремешками через плечо, офицерскими, он говорил. Он их продавал за деньги старшеклассникам. Его звали Котел, голова большая, маленький сморщенный носик, голубые, всегда прищуренные глазки. Однажды он зачем-то полез под парту и долго не вылезал. Сначала мы смеялись над ним, а он молчит, и начал загребать руками грязь на полу и бумажки. Пришлось спуститься к нему, а у него лицо голубое, глаза закатились, и розовая пена вокруг рта. Так было еще несколько раз, а потом он исчез.

Среди наших небольших событий шла большая борьба. Мы с Эдиком всегда в стороне, пришли, поучились, и домой. Еврейские ребята, говорит бабка, не смешивайтесь, не влезайте в их дела, они после войны бешеные, и дети их такие же.

Война есть война, говорит папа, что поделаешь.

Вы, Семен, все рассуждаете. Мы доживаем, а мальчикам что делать на муравьиной куче?

Вы преувеличиваете Фанни Львовна, говорит папа, почему мы доживаем, еще проживем.

Но он спорить не хочет, бежит в больницу, дела.

Мы с Эдиком тихо живем, никого не трогаем, поучились, и домой бежим.

А борются у нас две силы. Один мальчик, высокий и тонкий, по фамилии Васильев, борется за справедливость. Он всегда за это борется, вокруг него слабые и обиженные, он говорит с ними как начальник, но защищает. После школы они ходят на свалку, а еще он занимается борьбой на пожарной вышке, там кружок, настоящий борец учит. Я один раз пошел туда, борец говорит, справку от врача принеси, но первое занятие можешь, испытай себя. Мы делали мостик. Потом я пришел домой и заснул, три часа спал, проснуться не мог. Папа говорит, тебе рано справку, лучше начни на лыжах, а бороться не стоит. Жаль, но я тоже понял, не стоит. Если столько спать днем, времени ни на что больше не останется. А Васильеву хоть бы что, потом еще испытывает приемы на своих ребятах. В чем его справедливость, не знаю, но он не хочет, чтобы кого-нибудь бил другой мальчик, Веселов. Мне нравится Веселов, он много раз второгодник, но веселый и добрый, намного старше и сильнее всех, ему скучно у нас. Он сидит с кем хочет, а не с кем Полина приказала, она морщит носик красноватый, но молчит, боится его, наверное. Во время уроков Веселов лежит на задней парте или уходит курить в коридор - учиться ему противно, но мать заставляет. Отца у него нет, а мать он любит, пусть не плачет, говорит, я здесь посижу немного, а потом работать пойду, надо чтобы взяли. Его скоро возьмут, как четырнадцать лет исполнится, он уже много лет в одном классе сидит. Он иногда бьет тех, кто не дает списать или не подсказал, и тут же забывает, снова лежит на парте или курит в туалете. Васильева он не любит, но не трогает, но если кто-то из той компании сядет на его задний ряд, он запросто вышвыривает, и снова дремлет.

Однажды был великий бой, Васильев собрал всех своих, а Веселов позвал двух старшеклассников хулиганов, и они втроем всех побили, наверное, десять человек. Многие ребята, и мы с Эдиком пошли смотреть на драку, это за базаром было. Мы стояли в стороне, и нас не трогали, только Котел наскочил, давай драться, но он совсем крошка, мы его оттолкнули, постояли, и домой пошли. А на следующий день все было как всегда, Веселов спит, а Васильев снова испытывает приемы, правда, с синяком под глазом, но никто не смеется над ним.

Физкульт-ура!

Один раз на уроке физкультуры отключили свет. Часто отключали, и мы не удивились, наоборот, обрадовались. Тут же внесли керосиновую лампу, она осветила брусья, шведскую стенку и горы матов в углу. Урок продолжался. До этого была линейка: «Равняйся! Смирно! По порядку рассчитайсь!», пробежка, потом вольные упражнения, снова бег и прыжки через скамейку. Все это можно было перетерпеть. Но теперь предстояло самое неприятное - подтягивание на перекладине или кувырок на матах. В прошлый раз была перекладина, сегодня мы ждем кувырок. Учитель свистит и отдает приказы. Мы его зовем Матросом. Он был матрос, правда, воевал только несколько дней, его ранили в лицо. Матрос свистит, и четверо самых сильных ребят стаскивают два мата на середину зала, один на другой. Мы с Эдиком прыгать не умеем, сели подальше, а потом и вовсе спрятались за гору матов. Здесь Эдик рассказал мне новость - как получают дети. Говорит, прочитал в какой-то книге у Игоря Абрамовича.

Этого не может быть, я сказал. Чтобы мои родители занимались таким делом... Вранье.

В книгах не бывает вранья, Эдик говорит, но он не совсем уверен. Если правда, то ясно, почему они молчат об этом...

Нет, я не мог представить себе такого!

Наверное, приходится, чтобы дети были, Эдик говорит, значит, один раз, если ребенок один.

Тут я догадался:

Коммунистам никто не разрешит, у них не может этого быть.

Мой-то папа был коммунистом. Эдик подумал, и нехотя говорит:

Коммунистам, пожалуй, нельзя. Его отец коммунистом не был, и где он, никто не знает.

Но тут я вспомнил, что до войны мой папа тоже не был коммунистом...

Было о чем подумать обоим, мы замолчали.

Кто там за матами, выходи! - зарычал Матрос, и засвистел.

Эдик спрятался подальше, я подошел.

Ты что?

Смотреть ему в лицо было невозможно. Я разбежался и прыгнул, в последний момент упал на бок,

вскочил и убежал за маты. Зазвенел колокольчик, и мы все побежали в коридор. В темноте Матрос успел задержать нескольких ребят, построил их, они закричали: «Физкульт-ура!», как полагается, а мы с остальными уже толкались у входа в раздевалку. Те, кто посильней, с нахлобученными шапками и пальто под мышкой, выбирались на мороз, а мы и здесь оказались последними, тихо подобрали свои вещи и пошли домой.

Профиль

Однажды среди урока нам велели идти в зал. Все оживились, закричали и побежали в коридор. Там уже были учителя, нас построили по двое, и пошли. В зале собралась вся вечерняя смена, восемь классов. Сразу стало душно, потому что места мало. Вошел Костыль, и все стихли. С ним завуч Полина, лисица с красными глазками, всегда что-то высматривает, а говорит, будто не выдыхает воздух, а вдыхает в себя. Директор оглядел нас всех сверху, и говорит:

Полина Андреевна хочет поделиться с нами огромной радостью, слушайте внимательно.

Когда я отдыхала на Юге, она начала... Видим, воздуха ей не хватает... Когда мы отдыхали в Крыму... как-то мимо нас проехала машина... и мы увидели...- она от радости задохнулась, не говорит, а свистит... - мы увидели в ней, на фоне задернутой занавески...— она сейчас лопнет от счастья... — знакомый нам всем, дорогой, любимый профиль...

Мы слушали, раскрыв рты, вот это да!..

Директор торжественно пожал ей руку и обнял сверху за плечи.

Запомните этот момент, самый торжественный в вашей жизни.

Мы строем разошлись по классам. Сначала было тихо, а потом понемногу оживились, и даже подсказывали, как обычно.

Дома я, конечно, рассказал, что было. Перед сном, чтобы подольше спать не гнали. Иногда получается спор у них, тогда можно посидеть еще.

Лопнуть можно от смеха, бабка говорит, но не смеется.

По-моему, совсем не смешно, говорит мама, а сама еле удерживается от смеха.

А папа молча слушал. Потом вздохнул, - как я устал, глупость не имеет предела.

Ушел и лег на кровать.

Мама за ним, да ладно тебе... пусть они, не переживай... - и дверь закрыла.

Ну вот, заладили друг друга утешать, бабка говорит. А ты еще не спишь? Мойся и в постель, живо!

Из-за волос

А про волосы я никому не рассказал, и Эдик у себя дома тоже. Ясно, что будут говорить. Не связывайся, не обращай внимания, это дураки. Защищайся, если можешь, или убегай...

И спорить никто не будет, придется идти спать.

В тот день мы со школы пошли напрямик, через поле. Мы там редко ходим, лучше обойти, я говорю. И Эдик знает, что лучше обойти, но ему лень было. Ничего, проскочим незаметно, он говорит. Да ладно, ничего не будет, я тоже подумал, пройдем.

На поле трава вытоптана, земля плотная как камень, здесь играют в футбол. И сегодня взрослые ребята стучали башмаками и кричали, гоняя маленький грязный мячик. Мы шли за воротами, сбоку, чтобы не попасть под ноги - ведь собьют.

Вдруг один парень увидел нас, и среди игры застыл.

Смотри, еврей! - и кинулся к нам. Бежать ему было далеко, но он быстро приближался. Я еще ничего не понял, а Эдик кинулся бежать. Большой парень промчался мимо меня, от него пахло потом и пылью. Он бежал большими скачками, наклонившись вперед. Эдик бежал, задрав голову, быстро перебирая ногами, и расстояние между ними не уменьшалось. Парень споткнулся, чуть не упал, махнул рукой и присел завязать шнурок. Эдик остановился на краю поля и заорал с безопасного расстояния - а ты-то... чистокровный...

Парень выругался, и говорит мне - давно такого жиденка не встречал... кучерявый...

А я говорю ему, может, я тоже еврей...

Он засмеялся - шутишь, блондин, совсем не похож... - и побежал обратно.

Эдик ждал меня, он уже отдышался и не расстраивался.

Все из-за волос, говорит, подрасту, буду их развивать, слышал, такая машинка имеется. Тебе хорошо, с твоими волосами везде ходить безопасно. Интересно, когда он вырастет, тоже будет гоняться?

Кто, я не понял.

Ну, этот, футболист.

Не знаю, бабка говорит, дураки не исправляются.

Он помолчал, тогда плохо, говорит.

Следы у моря

Как-то пришли тетя Соня с новым мужем, Игорем Абрамовичем, я уже записал о нем в тетрадке, теперь я пишу в нее все, что видел.

Бабка как-то заметила, что я пишу, улыбнулась, но читать не стала, твое дело, говорит. Пиши, пиши, у тебя глаз острый, а уши еще лучше.

Я понял, что она хочет сказать. Шутит, но в каждой шутке доля правды, все знают. Я много вижу, но еще больше слышу. Наша квартира так устроена, скажешь слово на кухне, в комнате отзывается. Это потому что новая стена, раньше так не было, бабка говорит, квартира была как квартира. А когда пришли русские, мы сами разделили, отделились от той части, в ней теперь две семьи живут. Лучше самому отдать, чем у тебя отнимут, она говорит.

Поэтому звук у нас теперь гуляет по квартире, каждое слово слышно, и я все знаю. Непонятные слова каждый день, но спрашивать неудобно, скажут, «зачем подслушиваешь», или - «тебе рано». А Соня так громко говорит, что подслушивать не надо. Зато Игорь Абрамович говорит тихо, медленно и долго, не дождешься, пока выскажется. Мама смеется, большое терпение надо иметь, чтобы с ним говорить, но Сонечке повезло, он хороший человек. И Эдик тоже не против, главное, пусть мою комнату не трогают.

А твою тетрадку лучше по-другому назвать, бабка считает, представь, вдруг обыск, находят у нас какую-то тетрадь, на ней написано «я видел»... Ты нас всех подведешь, теперь такое время, нужно осторожным быть. Назови, будто все придумано.

Это как?

Будто пишешь рассказы. Имена убери. Выдумал, и все.

А зачем нас обыскивать?

Так и знала, что спросит! Тебе незачем, и ушла на кухню поскорей.

Она не знает, я и так придумываю. Как-то сидел перед тетрадкой... Это потом она мне черные линейки подарила, нашла у себя, их под чистый лист подкладывают, чтобы ровней писать. А сначала я писал слова на белом листе, и все криво, строчки постоянно то опускаются, то поднимаются к концу, от настроения зависит, если хорошее, то поднимаются, я заметил. И там, на белом листе вдруг вижу следы... Я тут же решил, это следы на песке у моря, на мой остров приехали дикари, спрыгнули из лодок, пошли в лес искать добычу, а следы оставили. А папа решил, у меня в глазах букашки плавают, витамина мало, и мне стали рыбий жир давать. Я его пил, пил, вырос от него на десять сантиметров, а следы не проходят.

Как-то я сидел, сидел над этими следами, думал, как спасти Робинзона от дикарей. Ничего не придумал, зато зачеркнул прежнее название, и написал большими буквами

С Л Е Д Ы у М О Р Я

Мне понравилось новое название, хотя не знаю, почему.

Недавно к нам стали приходиться каждый вечер гости, родственники и знакомые, потому что папа больше всех знает о политике, он человек общественный, бабка говорит, но лучше бы помалкивал. Время, она говорит, такое.

Какое?

Боже, и этот... Тебе рано знать.

Однажды вечером

Значит, пришли Соня с Игорем Абрамовичем, они почти каждый вечер приходили, но тогда приехал еще дядя Юлик на полчаса, и были мои любимые пирожные. Юлик всегда говорит, что на полчаса, а сам два часа спит на стуле, потом говорит два часа, и уходит искать попутку, чтобы к утру быть на месте. Иногда его утром проверяют, на месте или нет, и он всегда спешит. Он работает в школе, но не учителем, а слесарем, он все умеет, смеется, вот теперь я свободный человек, только бы еще к вам пускали. А ты, Сёма, осторожней будь, докторов теперь не любят, может, тебе тоже в слесари податься?

Мама смеется, у тебя руки золотые, а у Сёмы непонятно откуда выросли.

Игорь Абрамович маленький, лысый, в очках, сильно заикается, но мама говорит, все-таки муж, к тому же еврей, это облегчает. Все называют его Игорек. Что думает Игорек, никто не знает, слов от него не дождешься.

Может и лучше, смеется папа, а вдруг дурак.

Евреи не бывают совсем дураки, бабка говорит.

Ого, еще как бывают, со стула упадешь, как начнет говорить.

Все равно счастье, что еврей, бабка считает, пусть дурак, это не опасно. А русские жены опасные, они еврейских мужей из дома выгоняют.

Везде говорят, что евреи отравители. Врачи в Москве лечили правительство, среди них нашли врагов, и все евреи.

А бабка говорит, не верю, это из той же оперы, что всегда.

Мама днем ничего не говорит, и папа тоже, они боятся. А вечером собираются, вдвоем или с друзьями, сидят в задней комнате, разговаривают.

Нам некуда деться, бабка говорит, что будет, то будет.

Нам нечего бояться, отвечает папа, но сам боится, я вижу.

Я много вижу, потому что дома сижу. У меня друг Эдик, и все. Приду из школы, уроки, потом к нему. Но в обычные дни у него долго не посидишь, приходит тетя Соня, уроки сделаны? Алика не спрашиваю, он молодец, а ты? Не сделаны. Алик сейчас уйдет, сделаешь, иди к нему. Но Эдик тогда не приходит, ему долго уроки делать. Но иногда Соня приходит с работы поздно, и тогда мы сидим и сидим. Говорим о том, что слышали. А потом я иду домой и задаю вопросы. Мама не рада, что вопросов много.

Куда ты растешь, она говорит, зачем спешишь, не торопись. А вот читать начал, это молодец.

В тот вечер они сидели в задней комнате, а я у себя за столиком делал уроки, слушал, что говорят. Бабка отнесла им чай, там тоже столик, они там пили. А мне она дала пирожное с круглой коричневой головой, шоколадной, мое любимое. Я перестал делать уроки, долго ел пирожное, сначала отлупил коричневую шоколадную корочку, потом разъединил два полушария и слизал между ними крем, потом съел остальное, а сам слушал.

Звонок, я побежал открывать. Бабка закричала, ты куда, не беги к дверям, нам спешить некуда. Сама пошла открывать, кто там, и сразу открыла.

В темноте стоит дядя Юлик, качается и громко говорит, теперь и у вас лампочки разбиты, вот она, Россия...

Вышел папа, заходи быстрее, и потише дыши, а то уморишь нас самогонскими миазмами.

Не самогон, а коньяк, Юлик говорит. Таня приехала из Москвы, устала и спит, а я к Вам, попутку словил, есть еще нормальные люди на дорогах. Надо отметить начало последнего года жизни.

Что ты несешь, папа втолкнул его в заднюю комнату. Юлик упал на стул, голову свесил и захрапел.

Что сделалось с человеком, говорит бабка, она мимо с чайником шла, - совсем русский пьяница.

Ему холодно там было, он согревался, я говорю. Слышал, как Юлик папе объяснял.

Всем было холодно, бабка говорит, больше ничего не сказала. Пошла к ним, дверь только прикрыла, и я все слышал.

Я думал, он после войны угомонится, говорит папа, разве крови недостаточно ему?

Нет, он вампир, пока не умрет, будет пить, народу еще хватает, бабка говорит.

Потом надолго замолчали.

Мама говорит, наверное, дурак родился или птичка пролетела.

Дураков хватает, засмеялся папа, а птичка не улетела, села и клюет нас в темечко. Гриша прав.

А где он?

Сидит в деревне, ждет момента. Умный парень, а вбил себе в голову опасную глупость, ведь границы на замке.

Потом они начали считать евреев, которых арестовали... голоса все тише, а потом я заснул за столом, не доделал упражнение, только чувствовал, папа отнес меня на кровать. Проснулся ночью, у бабки свет горит, она в больших очках читает книжку. Кто-то меня раздел, я под одеялом, тепло...

Хорошо быть умным, но не взрослым, я подумал, и снова заснул.

Море перед зимой

Осенью мы почти каждое воскресенье ходили с папой к морю.

Завтра пойдем, я спрашиваю, он говорит, конечно, как мы без моря... и мы идем. Постоим немного у воды, потом делаем большой круг в парке, и возвращаемся домой к обеду.

Один раз вечером я спросил, завтра как всегда?

Было холодно, на неделе два раза выпал снег, хотя тут же таял, бабка говорит, давно не было, чтобы в октябре такая холодина, что же дальше будет? Теперь даже зима у нас как в России.

Климат на всей планете меняется, папа говорит.

Бабка не согласна, планета теплеет, а у нас наоборот, что бы это значило...

Оставьте, Фанни Львовна, случайные явления тоже нужны, папа не любит печальных тем.

Я спрашиваю его про завтра, он помолчал, и говорит:

Алик, холодно уже, давай, оставим наши прогулки до весны, море никуда не денется от нас.

Я страшно удивился, он понял, подумал, и говорит, ладно, скажу, как есть. У меня другая теперь работа, и в воскресные дни тоже, я на скорой помощи работаю.

Я вспомнил, недавно мама говорила ему, только не на скорую, там и молодые не выдерживают. А он ответил, там свои, они мне только дни оставили, а по ночам сами будут. Я не понял тогда, в чем дело, и забыл.

По ночам я не работаю, как другие, он говорит, зато должен в воскресные работать, иначе неудобно перед людьми.

И долго ты будешь по воскресным?

Он говорит, точно не знаю, но думаю, скоро все изменится.

А ты мог не согласиться?

Другой работы для меня нет, он вздохнул. Я все-таки врач, не буду же телеграммы разносить. В будние мы могли бы прогуляться, но ты в школе, а по вечерам уже темно. Но я обязательно что-нибудь придумаю.

Не приставай к папе, мама говорит, ты уже большой, потерпи. У нас темная полоса, всем тяжело.

А вчера он говорит, завтра свободный выходной, пошли. Только встанем пораньше, потом у меня дела.

Он меня разбудил в восемь, холодно, темно, сыро, пол ледяной.

Пошли.

Мы быстро выпили чаю, съели по бутерброду с колбасой, оделись и вышли на улицу. Небо только светлеет, везде иней, ветер сырой, мы идем. Перешли трамвайные пути, дальше мокрая трава. Потом песок сырой, вязкий, идем, он молчит, я тоже.

Подошли к воде, она черная, волнуется, шипит на песок.

Зимой только полоска льда вдоль берега, море никогда не замерзнет у нас, папа говорит.

И можно далеко плыть?

Как тебе сказать... Он засмеялся, но печально. Когда вырастешь, думаю, можно будет. Ветер, холодно, давай, уйдем.

Больше свободных выходных у него не было.

А в будние у меня свои дела, учусь - утро, холод, вставай, желтый свет, заборы, рынок, школа... Потом домой, серый день, темнеет, вечер, уроки, спать...

И снова - вставай, холод, школа...

Папу арестовали

В феврале в один день я долго был в школе, много уроков, потом мы с Эдиком медленно шли домой, толкались, ездили по лужам замерзшим. Все равно скучно, пообедаешь, и день кончился.

Я пришел, дома разбросано, мама плачет, бабка носится, ставит вещи на места, говорит - обойдется, Зина, он ни в чем не виноват. Простой врач.

Вот именно, врач.

Завтра вернется, вот увидишь. Пойдем звонить.

Зачем идти, вот телефон.

Его отключили.

Я удивился, надо задание узнать у Димки, отличника, он все записывает, мы с Эдиком забыли. Я и не подумал, что папа надолго, сказали, скоро приедет, я поверил.

Но завтра его не было, и потом, целую неделю никто о нем не знал. Мама ходила, и бабка с ней, узнавали, где он, но им не говорили ничего. Мама говорит, надо пойти к одному человеку, духу не хватает, но папа его лечил, может, скажет, что с ним.

Пошла, приходит, он сам боится, только сказал, жив доктор, и все.

Папа вернулся

В начале марта снег почти весь растаял, и я вспомнил, как папа получил благодарность на войне. Наши войска вошли в Эстонию, и все в валенках, а папа добился, чтобы им дали сапоги, потому что весна у нас коварная, мокрая. И правда, он говорит, спас наступление, солдаты шли по воде.

Мы в тот вечер сидели без света, отключили во всем районе, а свечи зажигать мама не захотела, незачем, говорит. Но из окна шел свет, я удивился, что там, ведь фонарь на улице не горел. Один живой остался, бабка говорит, и то голая лампочка, колпак разбили, русские все разбивают, не могу понять зачем, ведь все им уже принадлежит, зачем свое бить?

При чем тут русские, говорит мама, но не спорит, устала.

Надо бы поужинать, у нас где-то картошка холодная, и плитку растопить.

Мам, ты забыла, у нас уже месяц газ.

А, да, газ...

Она встала в темноте и ушла.

Откуда свет, мама спросила, я посмотрел - там луна, кусочек старой остался, и снег на крыше сарая под нами, освещает окно.

А, да, снег... Хотя тает. А в России все время снег, снег... Я так устала от всего.

Папа вернется, я говорю, он же не виноват, что другие доктора враги.

Милый, они не враги, ну, может, один что-то не так сказал...

Тут я услышал легкий шорох в передней... нет, за дверью, но не стучат и не звонят. Там кто-то есть, говорю.

Она вскочила, побежала к двери, открывает, и ни звука не было, потом слышу, что-то тяжелое упало. Я побежал, и бабка выскочила из кухни, а в передней темно, только какие-то люди на полу, а потом слышу голос - папин! - Фанни, да принесите же воды, воды...

Не надо воды, мама говорит, она встает, ничего, говорит, не надо, ты пришел, пришел...

Дальше я не помню, мы были в одной куче, плакали и смеялись.

И тут включили свет, разом, а не как обычно, сначала мигает, мигает...

И мы увидели папу, у него все волосы серые какие-то, а были черные, только виски седые.

Ничего, он говорит, можно подкрасить, представляешь, какое счастье, они не успели... я не успел...

Молчи, мама говорит, я слышала по радио, он умер. Теперь должно проясниться, не может больше быть, как было.

Не знаю, говорит папа, уже ничему не верю. Но это прекратилось в один момент. Теперь осталось считать живых и мертвых. Чертова жизнь, я больше не могу!

Он заплакал, я никогда не видел, чтобы он плакал, тонким жалобным голосом, взрослый человек.

Мама говорит - мам, уведи мальчика, а мне - милый, иди, пора уже спать, спать. Мы снова вместе, спи спокойно, завтра поговорим.

Я ушел, бабка уложила меня, накрыла одеялом, поцеловала, я чувствую, у нее щека мокрая, она говорит - Алик, спи, спи, расти большой, умный, может, лучше нас будешь жить.

Папа умер

Я спал долго-долго, когда проснулся, было уже светло. Надо в школу, как же я проспал! А потом вспомнил, сегодня же воскресенье. И папа вернулся. Он больше не будет на скорой, мама сказала. Теперь он обязательно вернется в больницу, ведь он ни в чем не виноват. И мы будем ходить с ним к морю, каждое воскресенье. Сегодня тоже пойдем?

Я вскочил, дверь открыта к ним, папа лежит на кровати, мама метет комнату щеткой, это ее любимое занятие, я при этом спокойно думаю, она говорит. Важно, чтобы ни одной пылинки не осталось, мне пыль мешает дышать.

Они не видели меня, папа говорит:

- Какое счастье, я ничего им не сказал, не успел сказать. Наверное, не выдержал бы. Они мной мало занимались, началась суета, они как крысы, когда что-то рушится. Только свет в глаза, яркий свет, два дня. Но они не знали, я могу спать при любом свете, с открытыми глазами!

Он засмеялся, хрипло, будто ворона каркает.

Простудился... холод был дикий...

Потом спрашивает, Алик проснулся? Какое, счастье, Зина, я ничего не успел сказать.

А что бы ты сказал, ты же ничего не знаешь.

Им правды не нужно, только говори - кто, что... у них свой план. Только говори. Но я никого... понимаешь!

Он позвал меня. Я вернулся на цыпочках к кровати, потом прибежал к нему.

Он обнял меня, говорит, сейчас оденусь, пойдем к морю, как всегда. Море всегда у нас будет.

Мама отошла, принялась мести под моей кроватью, пыль уничтожать.

Папа молчит, взял меня за руку и держит. Вдруг задышал громко, сжал руку мне сильно-сильно, говорит шепотом:

- Позови маму.

Она ведь рядом. А я не могу освободиться, он руку держит. Я повернулся и говорю:

Мам, папа зовет

Она бросила щетку, и к нам, в один момент. А у него лицо темнеет, чернеет, уши стали синими, он смотрит на меня - и не видит, глаза пустые, изо рта слюна розовыми пузырями.

Мама кричит - мам, скорую, скорую! И в больницу звони!

Из его больницы приехали скорей, человек пять или шесть, а потом скорая. Вся комната забита белыми халатами, мы с мамой в углу, ничего не видно, только спины.

Мы молчим, она меня обнимает, бабка на пороге, у нее белое лицо. А мама спокойная, как мертвая, только меня обнимает, мы на полу сидели.

Время, время шло, все суетятся, голоса - делай то, делай это...

Я думал, сейчас будет папин голос - «да, ладно...» как он всегда говорит, но не было, только чужие голоса, скорей, скорей... Потом полилась вода, что-то упало.

Один поворачивается, говорит - простите нас, мы не можем ничего сделать, простите.

Я узнал его, видел в больнице. И они один за другим, один за другим - уходят, уходят.

А на кровати папа, подбородок подвязан полотенцем, лицо синее, он улыбается, молчит, глаза закрыты.

Папу хоронили

Потом были похороны, улица полна людей, пришли все, кого он лечил, и до войны, и теперь - эстонцы, русские, евреи, на лестнице стояли так, что не пройти никому, говорили шепотом. Кто-то сказал, священника нужно, мама говорит - нет, нет, он никогда не хотел, и снова тихо.

Бабка меня тепло одела, там дует, говорит, голое место на высоте, еврейское кладбище. На воротах железная звезда, только не пятиконечная, а шести. Въехали, людей поменьше, там уже была яма, начали на веревках спускать гроб, мама говорит мне, подойдем, держись за меня, у тебя другой защиты нет, держись, Алик.

Я смотрел, как гроб опускается, снежинки падали на крышку, тут же таяли, наша обычная погода, кто-то говорит за спиной.

Мы вернулись, мама не спала, плакала, Соня вместе с ней. Бабка говорит - идем, Алик, тебе тут нечего делать, милый. Повела меня наверх по лестнице на четвертый этаж, там у нее знакомая Ребекка, меня отвели в отдельную комнату, положили спать, и я быстро заснул.

Дама заболела

Две недели у нас жила тетя Соня, иногда убегала домой через двор, приготовит еду, накормит своих, и нам принесет. Мама болела, вставала редко, и бабка тоже заболела, лежала в уголке за своей старинной ширмой. Потом мама встала, начала понемногу пыль убирать, говорит, столько накопилось, Семен бы не узнал квартиру.

Шурует под кроватью, шурует щеткой. И плачет.

А Фанни совсем расклеилась, говорит, как некстати я...

Мам, перестань, говорит мама, разве болезнь и смерть бывают кстати, ты должна жить, ты нам нужна.

Фанни головой качает, смотрит на живот, он растет не по дням, а по часам. Пришел доктор, надо в больницу, сердце не работает, вода в животе и ногах.

Фанни говорит, нет, хватит с меня, хочу умереть.

Доктор ничего не сказал, вытащил большой шприц, огромную иглу, не круглую, а как штык. Фанни говорит, хотите заколоть меня, засмеялась, но печально.

Мне стало так жалко ее, что я забыл все ее строгости, как она меня мыться заставляла, и кричала на меня.

Уйди, Алик, говорит мама, я ушел за ширму, но немножко видел. Доктор помазал кожу на животе йодом, Фанни сидела на стуле, а живот висел над полом, она руками держалась за стол, чтобы живот не перевесил. Доктор воткнул иглу в живот, снял шприц, а игла осталась. И я вижу, из отверстия иглы, из темной дырочки потекла вода, нет, желтая жидкость, в тазик, мама сначала держала его в руках, потом поставила на пол.

Я отвернулся, отошел, только слышу, как течет, течет, течет без конца.

Потом мама говорит мне, подойди сюда.

Фанни лежит под одеялом, руки наверху, темные руки в морщинах и трещинах. Она медленно повернула глаза ко мне, не двигая головой, улыбнулась губами.

Алик... слушайся маму... и не бойся, ничего не бойся, никогда не бойся.

Потом говорит, чуть не забыла, у меня для тебя подарок ко дню рождения.

Я удивился, потому что еще весна, потом будет лето, и только осенью мой день рождения, в октябре.

Знаю, еще из ума не выжила, но все равно, иногда приходится подарки дарить заранее. Возьми в тумбочке ручку.

Ее знаменитую ручку!

Она улыбнулась, а мыться будешь? Ладно, не ври, не будешь. Теперь у тебя хорошая ручка, не забывай писать в тетрадку. Это история, еще пригодится. Все, что о себе помнишь, пиши.

Все-все писать?

Ты думаешь, это много - всё... Один длинный день. Потом все короче, остается несколько минут. А потом точка блестящая.

Что, где... я не понял. Как в телевизоре, когда отключают?

Вот-вот, современный мальчик... отключают, а потом она гаснет, точка на стеклышке, и все.

Не понял про точку, и еще, вот что непонятно...

Как же про молодость писать, я же ничего не понимал тогда?

Она улыбнулась, молодость у тебя не совсем прошла. Пиши о том, что видел и слышал. Только видел и слышал. Не умничай, всегда найдутся поумней. Иди, иди, у тебя ведь уроки еще?

Давно сделал, я к Эдику пойду.

Дружи с ним, одному нельзя.

Она закрыла глаза, я отдохну теперь, сразу легче стало.

Еще бы, из тебя бочку выкачали, мама говорит, а мне - иди к Эдику. Вернешься, почитай, наконец, свою книжку, или другую, смотри, сколько на полке у нас, папа любил читать, ты должен быть на него похож. Или запиши о себе в тетрадку, которую бабушка подарила. Только хорошим почерком, у тебя ручка чудесная, она много помнит.

Я давно читаю, много книг уже прочитал, зачем она говорит... А писать не хочется.

Надо сначала чернила в ручку.

Вот тебе чернила, и оставь нас, иди.

Я понесу ее Эдику, мы с ним заполним.

Делай, что хочешь, только не забудь ее там. Этой ручкой дома пиши, она не для школы. Там писать авторучками запрещено, знаю ваши правила.

Я вышел, еще недалеко ушел, слышу, бабка говорит маме:

Завидую Сёме, он быстро. А я разлагаюсь, не хочу обузой быть. Моя жизнь до войны осталась. Мальчика, мальчика держи дома, сколько есть сил. Звери кругом, отравят или разорвут.

Еще выздоровеешь, будешь меня здоровей.

Я побежал, ручку умею заполнить, но хочется Эдику показать. У него замечательные вещи, я всегда завидовал, а теперь у меня ручка есть. Она мне всегда нравилась, толстенькая, короткая, с блестящим пером. Знаменитая фирма, бабка говорит.

Мы с Эдиком промыли ручку теплой водой, заполнили чернилами. В ней поршень, можно много чернил накачать, будет писать долго.

Потом мама за мной зашла, привела домой.

Теперь бабушка будет в задней комнате жить, а мы с тобой здесь.

Поужинали, была колбаса собачья радость, вкусная, мама дала кусочком, а то все на хлеб, на хлеб... И пили с сахаром чай.

Бабушка как?

Я ей снотворное дала, пусть отдохнет от нас.

Мы пошли к морю

Утром я ушел в школу, вернулся, мы поели с мамой, бабка проснулась, и снова спит.

Я опять ей снотворное дала, мама говорит. Сейчас Соня придет за тобой, поживи у них пару деньков. С Эдиком найдешь дела, до понедельника можешь в школу не ходить, я с Анной Юрьевой договорилась, потом догонишь.

Соня пришла, поцеловала маму, молча взяла меня за руку, и мы пошли. Как вышли, я тут же руку освободил, я не маленький за ручку ходить. Мы пошли через двор, через дырку в заборе в другой двор на улице Якобсони, и пришли к ним домой. Соня говорит, сейчас Эдик придет, он ушел за хлебом. Пришел Эдик, а, говорит, ты, хорошо. Пошли в его комнатку, сели на кровать, он спрашивает, бабка умирает у тебя.

Болеет, а когда умрет, не знаю.

Доктора знают, иногда ошибаются, но твоя бабка старая, долго не проживет.

Я почти разозлился на него, но вижу, он не хочет обидеть, говорит то, что слышал.

Ладно, он кивнул мне, пойдем лучше к морю, снимаем. Бери Робот.

Я обрадовался, он раньше не позволял мне нести фотоаппарат. Это его отца, который пропал без вести. Мама говорила, его сослали, а потом он не вернулся. Скорей всего, умер, но никто не знает, где. Эдику не говори, он верит, что отец вернется. Может, еще вернется, кто знает. Так Фанни всегда говорит - «кто знает... Жаль, я в бога не верю, но думаю, и он многого не знает...»

Мы пошли к морю. Там давно уже земля заросла травой, от окопов даже канавок не осталось.

Я вспомнил, как мы с папой первый раз приходили сюда, пробирались к воде, подошли к сырому темному песку, и он говорит - вот и вернулись.

Я не хотел плакать, и чтобы Эдик не видел, отвернулся, стал смотреть на деревья вдали, на памятник Русалке, погибшему броненосцу, на камни, наполовину в воде, с белой каемкой, это соли, папа мне говорил, будет прилив, полоска скроется.

Почему соли не уйдут обратно в воду, я спросил его как-то.

Он посмотрел на меня, говорит, молодец, хороший вопрос. Потому что в воде этих солей много, море больше не принимает их.

Отчего же они на камень вышли?

Оттого, что их не было там, вот и вышли. А потом солнце, ветер, они изменились, обратно им нет пути. Наверное, как нам.

Я не понял, куда нам идти.

Он говорит, сам не знаю, но куда-то мы идем ведь.

А потом говорит - почему читать не любишь, ты же способный парень, я вижу.

Я вздохнул, у меня уже есть книга, я все время думаю о ней, другую читать не интересно.

Робинзон?

Да. Как он жил один?

Папа вздохнул, сам не знаю, нужно очень сильным быть... или несчастным. Но со временем поймешь, много хороших историй есть, в жизни не все плохо кончается.

Как же не плохо, если умирают все?

Это нескоро, еще много хорошего будет, и плохого, но дороже жизни нет ничего.

.....
Я не хотел вспоминать, само получилось.

Эдик начал фотографировать, давай, тебя щелкну.

Я боялся, что слезы видно, их еще ветром не высушило.

Но он уже щелкнул, засмеялся, говорит, через десять лет посмотришь, удивишься, что был такой.

Какой?

Ну, небольшой, молодой.

Мне стало смешно, ничего себе, десять лет, ужасно долго, кто знает, что будет тогда - никто не знает.

Давай, я тебя сфотографирую, говорю ему.

Давай.

Он встал, скорчил рожу, и я его сфотографировал, наверное, неплохо получится.

Меня положили спать в большой комнате. Утром мы встали, позавтракали, он тоже в школу не пошел, обрадовался и говорит, ты еще у нас поживи, веселей будет.

Потом мы смотрели фотографии, обедали, сидели перед окном, во дворе ребята катались по камням на велосипедах. У нас не было, Эдику мама обещала купить, он говорит, будем по очереди кататься, я не жадный, ты знаешь.

Вечером пришла мама, погладила меня, еще поживи немного здесь, говорит, потом я тебя возьму и уж никогда не отпущу. Поцеловала, она это редко делала, все боялась, что заразная. Поговорила с Соней, и ушла в темноту, она в забор не уходила, только кругом, но все равно недалеко.

На следующее утро Соня разбудила нас, говорит - хватит бездельничать, лодыри, пора в школу. Накормила, и мы пошли по старым камням, мимо бани, в ней еще темно, пахнет мыльной водой... потом через базар, там в темноте таскают ящики, приезжие ругаются за места... дальше огни и шум, знакомые ребята...

Учились как обычно.

Я не боюсь

Вечером пришла мама, Алик, пора домой.

Мы пришли, в наших комнатках пусто, тихо, пахнет больницей.

Я хотел спросить, где Фанни, но молчал.

Мы поужинали. Она говорит, сядем на диванчик. Сели, она обняла меня:

Алик, мы вдвоем остались.

Она больше не плачет.

Алик, теперь ты станешь взрослым, детство кончилось, Алик. Прости, так получилось, ужасно повернулась жизнь. Мы не сумели, Алик. Мы хотели, чтобы у тебя, как у нас в детстве, но тогда другое время было.

Какое?

Когда мне было столько, сколько тебе... Мирная жизнь. Свой дом. Большая семья. Тихий чистый город Таллин, море, парк у моря, все, что мы с папой любили. Могли прочитать любую книгу, пойти в ресторан и вкусно поесть. Потом идти ночью домой по тихим улицам и не бояться. Наши знакомые все работали, но по воскресным мы ездили на дачу, или к морю. На маленьком поезде в Пярну... есть такой курортный городишко, там плавали, фотографировались. У нас была большая собака, черная овчарка Джек. Где он? Как подумаю, он один на улице, бомбы, за что ему? В один день все кончилось, мы бежали. В страну, которую любили издавна, мы говорили на ее языке. Русском. Мы и не знали другого языка, даже бабушка не знала. Ждали Россию, любили ее. Она пришла к нам перед самой войной, это была страшная Россия, совсем другая... А потом большая война, мы выжили, но наши знакомые и родственники погибли. Но мы вернулись. Помнишь, папа сказал - пойдем к морю. Мы вернулись. Мы думали, все станет на места, жизнь восстановится. Мы верили. Старались. Не получилось. Ничто не вернулось. Папе досталось больше нас, он не выдержал, умер. Теперь умерла моя мама. Она была особенной женщиной. Тяжелой, невыносимой. Но сильной, умной. Она потеряла смысл жизни, умерли те, кого она любила больше всего - сыновья.

А ты?

Мы были слишком похожи, это мешает. Но когда она умирала... Она сказала, что любит нас, и мы должны выжить. Ты должен выучиться, стать разумным. Не трусом. Иначе все потеряет смысл, совсем. Это она сказала. Смысл в том, чтобы у тебя получилось. Главное, не бойся, мы выдержим, только не бойся.

Я вижу, она сама боится.

Я не боюсь, мы выживем, и будем жить долго, вот увидишь.

Началась моя взрослая жизнь, мне было почти двенадцать лет.

.....
среда, 10 ноября 2004 г.